

Литература в школе:
читаем или **проходим?**

Мариэтта Чудакова



Мариэтта
Чудакова

Литература
в школе:
читаем или
проходим?



мариэтта чудакова



*Светлой памяти
моей учительницы литературы
Нелли Львовны Средниковой
благодарно посвящаю*

Благодарности

Особая благодарность Юрию
и Леве Арпишкиным, прочитавшим
мою книгу в рукописи и помогавшим
советами и материалами.

Спасибо Маше Чудаковой, Инне Мишиной
и Жене Астафьевой за чтение рукописи,
одобрение и ободрение.

Моя признательность Маше Фитас
и Нине Селаври, заботившихся
об условиях моей работы
над этой книгой.

Мариэтта
Чудакова

**Литература
в школе:
читаем или
проходим?**



Москва 2013

УДК 372.882.116.11
ББК 74.2
Ч84

Дизайн, макет
В. Калныньш

Чудакова М. О.

Ч84 Литература в школе: читаем или *проходим?* : Книга для учителя. — М.: Время, 2013. — 288 с. — («Диалог») ISBN 978-5-9691-1116-5

Новая книга выдающегося российского филолога и историка литературы Маризетты Чудаковой адресована тем, «кто готов хотя бы попробовать резко изменить характер преподавания литературы и русского языка в сегодняшних российских школах». Чудакова озабочена далеко не только судьбой учебного предмета под названием «литература» — ее мысль гораздо шире: стремиться к тому, чтоб окончившие школу умели мыслить, не шли на поводу у демагогов, не приучались ненавидеть других людей; не торопились в моральных оценках, критически относились как к всеобщему одобрению, так и к всеобщему осуждению.

«При чем тут мы?» — воскликнут учителя литературы. Очень даже при чем. Потому хотя бы, что, похоже, — БОЛЬШЕ НЕКОМУ».

ББК 74.2

ISBN 978-5-9691-1116-5



9

785969 111165

© Маризетта Чудакова, 2013

© «Время», 2013

ПРЕДИСЛОВИЕ

«Что это такое — Россия?

Если бы мне задали этот вопрос, разбудив среди ночи, я, вероятно, ответил бы: Пушкин».

И продолжает:

«Я мог бы также сказать: Толстой, Тютчев; первая страница “Мертвых душ”».

Это слова одного из умнейших русских литераторов XX века Владимира Вейдле. Ими он начал в 1968 году одну из своих книг — «Безымянная страна» (название свидетельствовало об исчезновении с карты мира слова «Россия» — на многие десятилетия оно было заменено, как известно, аббревиатурой «СССР»).

Автор поясняет, что мысль его была даже не о литературе, а о том, что для таких, как он — навсегда отрезанных жестокой властью от родины, Россия — это *русский язык*:

«Шипенье пенистых бокалов”, а то и разговор Селифана с лошадьми, его напутствие шустрой девчонке: “Эх ты, черноногая!” — это и есть Россия: та, где живу, та, что живет во мне. <...> Живу в нем (в русском языке. — М. Ч.) и тем самым живу в России. Довольно мне этой, если нет другой. Ее язык — наш и мой язык. Пушкин, и Толстой, и Селифан, и московские просвирни, и вы, и я, и все мы в нем одно. Оттого и ответил я на тот вопрос, назвав Россию именем ее поэта».

Как любому грамотному русскому человеку, открывшему по какой-то надобности том «Мертвых душ», и мне не удержаться, чтоб не пролистнуть еще несколько страниц дальше нужного места. Волшебное свойство самого загадочного русского писателя Гоголя! И не удержусь — приведу здесь только что упомянутый разговор с лошадыми (ну кому из говорящих и думающих по-русски не охота еще раз его послушать?..) Селифана, каковой,

«довольный приемом дворовых людей Манилова, делал весьма дельные замечания чубарому пристяжному коню, запряженному с правой стороны. Этот чубарый конь был сильно лукав и показывал только для вида, будто бы везет <...>. “Хитри, хитри! вот я тебя перехитрю! — говорил Селифан, приподнявшись и хлыснув кнутом ленивца. — Ты знай свое дело, панталонник ты немецкий! Гнедой — почтенный конь, он сполняет свой долг, я ему дам с охотою лишнюю меру, потому что он почтенный конь, и Заседатель — тож хороший конь... Ну, ну! Что потряхиваешь ушами? Ты, дурак, слушай, коли говорят! я тебя, невежа, не стану дурному учить! Ишь, куда ползет!” Здесь он опять хлыснул его кнутом, примолвив: “У, варвар! Бонапарт ты проклятый!..” Потом прикрикнул на всех: “Эй вы, любезные!” — и стегнул по всем трем уже не в виде наказания, но чтобы показать, что был ими доволен. Доставив такое удовольствие, он опять обратил речь к чубарому: “Ты думаешь, что ты скроешь свое поведение. Нет, ты живи по правде, когда хочешь, чтоб тебе оказывали почтение”».

Тут дождь «хлынул вдруг как из ведра», и Селифан «схватил в руки вожжи и прикрикнул на свою тройку,

которая чуть-чуть переступала ногами, ибо чувствовала приятное расслабление от поучительных речей».

* * *

Тут и рубеж для моих читателей.

Те из них, кто пришли к печальному выводу, что точка невозврата пройдена, и мы уже никогда не сможем на вопрос о России ответить: *Пушкин* (поскольку от него в сознании новых поколений осталось одно только имя), никогда не заинтересуем подростков гоголевской Селифановой речью (нигде в России давно ее не слышать — так нечего к ней и обращаться), — те могут сразу закрыть мою книжку.

Я обращаюсь исключительно к тем, кто готов хотя бы попробовать резко изменить характер преподавания литературы и русского языка в сегодняшних российских школах.

Для начала — предлагаю им разделить несколько моих презумпций. Они просты. И не имеют отношения, как и вся эта книжка, к ЕГЭ, под которые сегодня выстраивают школьное преподавание. Поскольку, по моему твердому убеждению, ЕГЭ приходят и уходят, а *Россия, русская литература и русский язык* — остаются.

Итак, мои презумпции — вполне элементарные.

1. Язык есть *то главное, что делает многочисленные этносы России единой нацией*. Мы можем считаться единой нацией, пока изъясняемся на одном, понятном каждому из нас языке, — до тех пор, пока он остается живым, то есть продуктивным. А вот этим мы все должны быть озабочены — начиная со школьных лет.

2. Тесно связанное с языком наше общее литературное наследие — *еще одно общенациональное соединяющее нас достояние*. Люди одной нации легко перекидываются извлечениями из этого наследия, не сомневаясь, что их поймут:

— Ты все пела? Это дело!

Так поди же попляши!

— * —

Мы все учились понемногу,

Чему-нибудь и как-нибудь...

— * —

— А судьи кто?

— * —

Блажен, кто верует, тепло ему на свете!

Когда в России в какой бы то ни было компании называют имена — *Евгений Онегин, Печорин, Чичиков, Наташа Ростова*, — предполагается, что каждый из присутствующих понимает, о ком идет речь.

Учитель-словесник — кроме него и семьи (увы, не всякой) больше некому! — должен ввести каждого ученика во владение своим наследием. То есть — уравнять его в этом отношении с предшествующими поколениями.

3. Поэзия есть *высшая форма цветения родной речи*. Поэтому, в отличие от музыки или живописи, которые для какой-то части людей могут оставаться недоступны в течение всей жизни, стихи на родном языке не могут быть недоступны носителю данного языка по причине антропологического порядка.

Доказательства — в своем месте.

I

КАК БЫТЬ С КЛАССИКОЙ?

1. О НАСЛЕДИИ

«...С сожалением должен констатировать, что начитанность девиц все больше и больше падает. Нынешнему седьмому почти совсем незнакомы уже такие писатели, как Горький, Л. Андреев, Ибсен. Прежде же было заметно гораздо большее знакомство с современной литературой. Трудно сказать, чем это объясняется».

«В последние годы много говорили о том, что преподавание так называемой “русской словесности” в средней школе должно быть подвергнуто коренной реформе... Необходимо заново спросить себя — *надо ли* “преподавать словесность”, и если надо, то *почему*. ...Принципы изучения литературы в средней школе совершенно не выяснены. Я уверен, что большинство педагогов не могло бы ясно определить, ради чего изучается “словесность”, почему она должна занимать одно из первых мест в программе, какими ценностями обладает этот предмет».

Написано сегодня, не правда ли? . .

Нет, почти сто лет назад. И эти вопросы в течение века так и не разрешены. Не наступило ли, наконец, время их решения?..

Первый фрагмент — из дневника словесника Н. А. Шубкина (отца известного экономиста) за 1912/1913 учебный год. Второй — из статьи Б. М. Эйхенбаума 1915 года.

Сегодня нам не оставлено иного выхода, как попытаться нарушить или — если не бояться слов — *сло-мать* очень долгую традицию российского образования по предмету «Словесность» (теперь, кажется, это

хорошее слово, к сожалению, из школы удалено) или «Литература». На нее и замахиваюсь.

Потому что и восклицания учителей-литераторов и им сочувствующих насчет того, что уменьшение часов литературы, равно как и введение по этому предмету ЕГЭ, есть удар по формированию духовной сферы человека, и помалкивание тех, кто эти часы уменьшает (не могут же они сказать вслух и прямо — «Ну и шут с ней, с этой вашей духовкой!..»), полны недоговоренностей. Они не обнажают проблему. А без называния вещей своими именами ничего здесь не решить. Русская классика, от Пушкина до Чехова, как и лучшее в литературе XX века, — сегодня это едва ли и не буквально то самое наше всё, что мы можем предложить в качестве конкурентоспособного. Нефть с газом, ядерное оружие и Толстой с Чеховым — вот то основное, чем располагает Россия...

Реальная же ситуация с русской классикой такова: так называемые программные произведения сегодня в каждом классе *читают* ЕДИНИЦЫ. Остальные заканчивают среднее образование, вовсе не зная основного корпуса лучших образцов русской литературы

Конечно, не вчера это началось. Но сегодня стало особенно очевидно.

Тем, кто, пожав плечами, спросит: «И что?», отвечаю — а вот *что*: каждый год 22 июня, сразу вслед за выпускным балом, в России сильно пополняется тот слой общества, который лишен, частично или полностью, *второй после родного языка общенациональной* связи: культурного наследия. Потому что не востребованное, мало кому из граждан известное (только имена писателей и — уже в меньшей степени — названия

произведений) больше не может, в сущности, считаться наследием этих граждан. Можете ли вы считать себя наследниками, если не обладаете унаследованным?

И тогда или надо перестать притворяться, гордо называя себя наследниками, или (второй путь) — войти в обладание этим наследством.

В конце XIX — начале XX века люди, кончавшие гимназию или реальное училище, Пушкина и Гоголя читали. Пример этого был у меня дома. Мой отец, дагестанец, сын царского офицера (дед мой — расстрелянный, когда мне был год, — превосходно, по отзыву мамы, говорил по-русски), учился — на отлично, чего впоследствии неукоснительно требовал от своих пятерых детей, — в русской классической гимназии в Порт-Петровске (впоследствии Махачкала). Он хорошо помнил решительно все прославленные сочинения XIX века.

Эта особенность российского дореволюционного среднего образования заметней всего у старших поколений писателей XX века.

В «Тимуре и его команде» память о «Капитанской дочке» — на каждой странице. Хотя бы отношения Тимура и Квакина, — разве не очевидна лежащая на них тень пары Гринев — Пугачев? Хотя бы в уважительности Квакина к своему «классовому врагу» Тимуру? В странной доверительности некоторых их разговоров? Один из многих примеров сходства с пушкинской парой — несправедливые обвинения, выпавшие Тимуру, и сочувственное отношение Квакина:

«— Ну что, комиссар? — спросил Квакин. — Вот и тебе, я вижу, бывает невесело?

— Да, атаман, — медленно поднимая глаза, ответил Тимур. — Мне сейчас тяжело, мне невесело».

Параллели, повторю, пронизывают всю повесть*. Зададимся вопросом — вспоминал ли сам Гайдар «Капитанскую дочку», работая над своей повестью? Вряд ли *вспоминал*. Но несомненно — *помнил*: учащиеся Арзамасского реального училища Пушкина *читали*.

* Они приведены в нашей работе «Дочь командира и капитанская дочка» (Новые работы: 2003—2006. М., 2007. С. 161—192).

2. ШКОЛЬНОЕ ЛИТЕРАТУРОВЕДЕНИЕ

Сегодняшнее российское общество отлично в этом отношении не только от бывших гимназистов и реалистов, но даже от более или менее интеллигентной среды 60—90-х годов XX века: тогда возрастные слои не были так разъединены.

Чего вообще-то мы, культурное сообщество, и служащая обществу (так ведь?) власть хотим, традиционно включая литературу в число школьных предметов? Того, наверно, чтоб этот учебный предмет прежде всего знакомил подрастающих сограждан с основным корпусом произведений отечественной словесности, имеющих статус общепризнанного культурного багажа. Мы, соотечественники, принимаем за аксиому — не без оснований, — что человек, вовсе не знакомый с этим корпусом или знакомый лишь понаслышке (Пушкин, Крылов, Лев Толстой, «Анна Каренина»), оказывается лишенным чего-то не восполнимого другими средствами. Сюда относится и то, что когда-то называлось «чувством прекрасного», и нравственный потенциал, заложенный в этом отобранном культурой корпусе. Взрослая литература, полагаю, не «воспитывает», но лет до 16-ти — очень даже воспитывает: выбор прочитанных книг немало определяет в формирующейся личности. Школьные условия теоретически для этого весьма удобны. А в дальнейшей жизни человек с полученными в школе этическими и эстетическими представлениями гораздо более полезен и приятен в общежитии, чем тот, у кого они на нуле. О себе, в общем-то, хлопочем.

Современные уроки литературы мало работают на упомянутую аксиому. По большей части — это уроки

начального литературоведения. Нередко, заметим, некачественного. То, что необходимо в профильной школе (но в качественном виде), — вменено у нас любой. И всем давным-давно известно, что при достаточной изворотливости (а кто же изворотливее школяра?) можно про «типы» и прочее у классика ответить на пятерку, не прочитав ни строки самого классика.

Традицию пытались сломать лучшие наши литературоведы почти сто лет назад — в 1910-е годы, когда Россия была на подъеме реформаторства. Статья 1915 года одного из умственно бесстрашных людей того времени «О принципах изучения литературы в средней школе» (за сто лет не устарело и название)* началась процитированными нами ранее словами о необходимости коренной реформы — и сразу брала быка за рога.

Когда появились в российских гимназиях учебники «по истории русской словесности», писал в той статье Б. М. Эйхенбаум, *«выучивание учебника стало методом изучения литературы»*. Обратим особое внимание на выделенные нами слова — ведь это давно принято как само собой разумеющееся: на то и учебник, чтоб его *учить*.

«Задачи учителя, — продолжал Эйхенбаум, — как будто упрощались и облегчались, и в то же время ученики знакомились с чем-то близким к научному пониманию. ...Из чисто справочных пособий учебники превратились

* Перепечатана с комментариями и сопроводительной статьей Е. А. Тоддеса и А. П. Чудакова и заново введена в научный оборот в кн.: Преподавание литературного чтения в эстонской школе. Таллин, 1983.

в объемистые руководства, где каждый автор и каждое произведение рассматривались с различных сторон. Тут можно найти параграфы, излагающие содержание и “основные мысли”, определяющие “историческое значение” и т. д. *Эти учебники, какими бы авторитетными специалистами они ни составлялись ... с нашей точки зрения все одинаково вредны или, в лучшем случае, не нужны для средней школы».*

Выделяю эти слова и полностью присоединяюсь.

Это пишет человек, ставший в недалеком будущем выдающимся ученым, прославленным исследователем Гоголя, Пушкина, Лермонтова, Толстого, Лескова... По книгам его я училась, и не я одна.

Идущая с конца XIX века, школьная традиция «научного» изучения литературы на уроках в самом уродливом виде вернулась в 1930-е годы (после экспериментов «бригадного метода» и проч.) в отечественное образование и далее в нем закрепились — естественно, в советском варианте*. А затем — встретилась и соединилась в прочном плетении с беспомощной эклектикой постсоветской школы.

И оставленные в незыблемости принципы столетней давности в эпоху электроники дали поистине чудовищные всходы.

* «— Ничего, не впервые, изловчусь как-нибудь! — сказал мне десятиклассник, признавшийся, что совсем не читал Гончарова, о котором ему завтра предстоит написать сочинение. — Главное, чтоб было побольше протестов. Я так и напишу непременно: “Гончаров в своих романах протестовал против...” Уж я придумаю против чего» (Чуковский К. Живой как жизнь. Разговор о русском языке. М., 1962. С. 139).

Легко овладев возможностями Интернета (он, как известно, лопается от рефератов по всем вопросам), школьники «пишут» (точнее, переписывают) сочинение на любую тему — про Пушкина, Грибоедова, Андрея Платонова или Солженицына, помещая на свое место все нужные «основные мысли» и «историческое значение», но не читая при этом *ни строки* «Евгения Онегина», «Горя от ума», «Капитанской дочки» и «Одного дня Ивана Денисовича» (бесспорной классики XX века). А не прочитали в школе — значит, в подавляющем большинстве своем (показывает практика жизни) не прочитают *никогда*.

Это обидно. Не за Пушкина — его не убудет. Обидно за тех, кто никогда не прочитает, например, конца «Метели»:

«— Боже мой, Боже мой! — сказала Марья Гавриловна, схватив его руку; — так это были вы! И вы не узнаете меня? Бурмин побледнел... и бросился к ее ногам...»

Повсюду, и дома у школьников, в часы подготовки домашних заданий рядом, в компьютере, уже не поток — *потоп* информации. В нем тонут лучшие образцы русской литературы.

Школа не помогает сегодня выделить из потока и выловить эти образцы. Назойливое *школьное литературоведение* открывает бескрайний простор для скучнейшего пустословия и краснобайства, приучает к демагогии*.

* Об этом очень внятно рассказано в недавно вышедшей книге Л. Айзермана «Педагогическая непоэма: Есть ли будущее у уроков литературы в школе?» (М., 2012), с которой (редкий случай в наши дни!) согласна от первой до последней страницы.

Вот лишь один пример этого рода — из учебника, авторов которого нет смысла называть:

«Реализм — художественный метод, следуя которому художник изображает жизнь в образах, соответствующих сути явлений самой жизни. Утверждая значение литературы как средства познания человеком себя и окружающего мира, реализм стремится к глубинному познанию жизни, к широкому охвату действительности. В более узком смысле термин “реализм” обозначает направление, с наибольшей последовательностью воплотившее принципы жизненного правдивого отражения действительности. <...> Между реализмом и романтизмом первой половины XIX века не всегда легко провести четкие границы».

И после перечня имен (одни русские писатели заложили «основы реализма», с именами других «этот метод связан») предлагается «Вопрос и задание — *В чем сущность реализма? Назовите реалистическое произведение, проанализируйте его*» (с. 214).

Если прямо сказано, что не так легко провести границу между «между реализмом и романтизмом» — то зачем же со школьников-то спрашивать про «сущность реализма»?

Тем более — требовать «проанализировать» какое-либо произведение?

То есть, надо понимать — дать его *целостный анализ*? Но это, как хорошо известно коллегам-словесникам, не всякому филологу под силу!

Что касается самого понятия «реализм» — с его кажущейся понятностью, простите за каламбур, — то я

знала историков русской литературы, которые, занимаясь всем XIX веком, ни разу не употребляли в своих книгах слово «реализм» — именно в силу его полной неопределенности. Принуждать школьников рассуждать на тему «реализма» — значит приучать их заниматься демагогией, бойко разглагольствовать — устно или письменно — о том, о чем они имеют самое туманное представление, и учебник этот туман нисколько не рассеивает.

Далее. Лично я не знаю, что такое «*принципы правдивого отражения действительности*». Скажите сами, положив руку на сердце, понимаете ли вы, что это такое — изображать «*жизнь в образах, соответствующих сути явлений самой жизни*»? Многие ли могут похвастаться, что, «земную жизнь пройдя до половины» (Данте), поняли наконец «*суть явлений самой жизни*»?.. И могут удостоверить, что «образы» ей соответствуют? Давно сказано — не задавайте вопросов, ответов на которые сами не знаете.

Далее. Убеждена: надо полностью изъять из употребления требование «*проанализировать*» какое-либо классическое произведение, в прозе, в стихах или драматическое. Это дело только и исключительно будущих филологов — во всяком случае, гуманитарно ориентированных школьников*. Остальные должны уметь познать роман или рассказ и прочувствовать стихотворение.

* К ним обращаются, например, авторы содержательной «Истории русской литературы XX века» (с важным подзаголовком — адресацией: «Книга для просвещенных учителей и учеников») с предложением: «Напишите исследовательскую работу “Соотношение фабулы и сюжета в творчестве Бунина” (на материале любого произведения)» (Абелюк Е., Поливанов К. История русской литературы XX века. Книга первая. Начало XX века. М., 2009. С. 24).

рение. Необходимость же «анализировать» полностью отшибает у подавляющего большинства какие-либо непосредственные чувства и собственные мысли по поводу наших классических текстов.

Вот воспоминания сегодняшних (конец 2012 г.) «пользователей интернета» о школьных уроках литературы (нашла среди ругательных отзывов в «LiveLib» на мою книжку для подростков «Не для взрослых. Время читать!», но в данном случае контекст неважен):

«...Сплошной извечный разбор пейзажей-портретов, которые только и делают, что отвращают школьников от чтения. У меня в классе 7-8-м было стойкое убеждение, что главное в книге — это эти описания, потому что больше ничего не видела. Ужасно»,

«Действительно ужасно. А у нас это были бесконечные “Что хотел сказать автор”»,

«...Мы говорили только о пыльном плаще Кирсанова или об одежде Кукшиной...»,

«Кошмар. Помню, читали “Обломова”, так учительница чуть не довела меня до слез, когда приказным тоном требовала объяснить, что означают его халат и диван, а мой ответ, что Обломов из-за своей лени и мечтательного характера совсем не интересуется бытом, к тому же скуп, ее не устраивал».

Вот как долго помнятся нанесенные в школе при приближении к классике обиды... Пора бы принять это к сведению!

...Что же — так вовсе ничему и не учить на уроках литературы?..

Отчего же? В литературоведении, например, есть небольшой набор понятий, о которых получающий среднее образование должен иметь представление.

Прежде всего — что такое искусство вообще, литература — в частности. Необходимо хотя бы приблизить юное существо к пониманию такого потрясающего явления в жизни человечества. С этим соприкасается и очень сложное для понимания, но необходимое, на мой взгляд, для человека со средним образованием представление о соотношении *личности* поэта (биографии) и его *творчества*. К этому мы еще обратимся.

Далее — что такое *эпос*, *драма* и *лирика*, жанры прозаические и поэтические... *Ода*, *баллада*, *элегия*, *поэма*, *сонет*... *Юмор*, *сатира*, *ирония*, *гротеск*. *Сравнение*, *метафора*, *метонимия*, *гипербола*...

Что такое *прототип* (сложнейшее понятие, про которое многие думают, что оно очень простое) — прояснить нужно хотя бы потому, что подросткам обычно интересно, «кого изобразил» писатель. Это имеет к тому же прямое отношение к самому феномену *литературного творчества*.

Входит в набор необходимого минимума филологических знаний и умение различить *фабулу* и *сюжет*. Это различие закрепилось в 20-е годы, и нет смысла от тогдашних формулировок (см. хотя бы «Теорию литературы» Б. В. Томашевского) отказываться.

Но и здесь нужна ясность — вряд ли обычный, не изощренного ума подросток воспримет расплывчатые и многословные формулировки того же самого учебника для 9-го класса:

Фабулой называют совокупность событий и происшествий в их взаимной внутренней связи, развивающейся в хронологической последовательности.

Сюжет — та же совокупность событий, происшествий, а также мотивов и стимулов поведения в их композиционной последовательности.

Ведь наша с вами задача — не высказаться позакорыристей. Наша цель — помочь учащемуся усвоить некие новые для него понятия, которые помогают говорить о литературном произведении, может быть даже — лучше понимать, что такое литературное творчество, о котором, повторим, именно в школе надлежит получить некоторое представление.

И, наверно, стоит убрать все слова, утяжеляющие формулировку, но не добавляющие смысла, — оставить только костяк, удобный для понимания и запоминания:

Фабула — хронологическая последовательность событий, происходивших в произведении.

Сюжет — способ авторского рассказа об этих событиях (роман может начинаться, например, со смерти героя). Его же называют иногда композицией.

...Итак — давать представление о сути литературного творчества.

«Какую же цель преследовал Лермонтов композицией романа (порядок расположения частей, событий, эпизодов в избранной автором последовательности)?

Одна из таких целей состояла в том, чтобы снять напряжение с происшествий и приключений, т. е. с внешних

событий, и переключить его на внутреннюю жизнь героя, усилив внимание читателя к ней».

Так, когда речь идет о дуэли Печорина с Грушницким, мы уже знаем о смерти Печорина, *возвращавшегося из Персии*, — т. е. знаем, что на дуэли он останется жив. Поэтому

«напряжение к этому важному в жизни героя эпизоду (не совсем по-русски — «напряжение к...», да не о том сейчас речь. — М. Ч.) снижено. Но зато повышено напряжение к событиям внутренней жизни Печорина, к его размышлениям, к анализу собственных переживаний» (нет, раздражает все-таки этот неуместный предлог «к...»).

Казалось бы, по сути верно? Мы получили ответ про цель?

Нет, неверно. Потому что неверно задан сам вопрос.

Готова согласиться с тем, как оценивается здесь *художественный результат* сюжетных манипуляций. Но говорить можно и нужно именно о *результате*, а не о целях, которые преследовал автор. Просто потому, что *узнать эти цели нам не дано*.

Сказано Блоком в его последнем публичном выступлении в феврале 1921 года в Пушкинском доме:

«Мы умираем, а искусство остается. Его конечные цели нам неизвестны и *не могут быть известны...*».

Ни конечные цели, ни локальные. Нет у нас с вами окошечка, чтобы заглянуть в творческое сознание. И не надо соблазнять малых сих предположением, будто они могут

судить о цели, которую в том или другом случае преследовал Лермонтов, — мы можем говорить лишь о творческом результате. О том, что получилось, как именно воздействует на нас построение «Героя нашего времени».

Настаиваем, что разница в постановке вопроса — существенна: ведь правильно поставленные вопросы приближают подростка к пониманию самой сути творчества. Топорные же, огрубленные — удаляют.

* * *

И даже можно отчасти понять инициаторов образовательной реформы — в такой ситуации, когда подростки, умело пользуясь интернетом, запросто анализируют классику, не читая ее, вроде ничего другого и не оставалось, как выкинуть сочинение из экзамена на аттестат зрелости...

Так что делать?

Далее — один из возможных предлагаемых мною вариантов.

3. К РУССКОЙ КЛАССИКЕ XIX ВЕКА — ЧЕРЕЗ МИХАИЛА БУЛГАКОВА

У Михаила Булгакова, выпускника Первой Киевской гимназии, как и у арзамасского реалиста Аркадия Голикова, на дне сознания жила память о сочинениях Пушкина. И потому, по нашей версии, сон Татьяны в «Евгении Онегине» подсказал ему — скорей всего, неосознанно, — сцену встречи Маргариты с Воландом (с последующим появлением Мастера). Сцену, которая от редакции к редакции романа «Мастер и Маргарита» становится все необычнее.

Татьяна у Пушкина приняла помощь медведя — он, как известно, имеет в русском фольклоре двойную природу: и добрую, и враждебную людям. И Маргарита у Булгакова принимает помощь двойственных существ — Азazelло и Коровьева — тех, кто, принадлежа сфере демонической, могут тем не менее помогать каким-то выбранным ими самими людям.

Приглядимся к описанию увиденного Татьяной застолья, возглавляемого Онегиным:

Он знак подаст: и все хлопчут;
Он пьет: все пьют и все кричат;
Он засмеется: все хохочут;
Нахмурит брови: все молчат;
Он там хозяин, это ясно:
И Тане уж не так ужасно...

Это — атмосфера первого появления Маргариты у Воланда, когда Коровьев поясняет: «Вы женщина весьма умная и, конечно, уже догадались о том, кто

наш хозяин». Квартира 50 раздвигается до необъятных пределов — ведь и во сне Татьяна: «Вдруг меж дерев шалаш убогой...», а «в шалаше и крик и шум», и «за столом Сидят чудовища кругом». Эта сцена в уже ярко освещенном «шалаше убогом» — ядро будущего бала висельников в романе Булгакова.

Пушкинская Татьяна во сне — потенциальная добыча гостей на сборище за столом Онегина (вполне соотносимых и с самой свитой Воланда, и с его гостями на балу). Только грозный возглас Онегина защищает ее:

...Все указывает на нее,
И все кричат: мое! мое!

XX

Мое! сказал Евгений грозно,
И шайка вся сокрылась вдруг.

(Подобно этому у Булгакова после того, как Воланд «поднес ей чашу и повелительно сказал: — Пей!» — «Толпы гостей стали терять свой облик. И фразники, и женщины распались в прах»).

Сохраняется и преемственность сложнейшей психологической атмосферы: тяготение к тому, кто представляет темные силы, опора на него.

Демонический образ Онегина из сна Татьяны в романе Булгакова, на наш взгляд, раздваивается — на Воланда и Мастера.

Сон Маргариты в романе Булгакова обещал ей свидание с возлюбленным. Но войдя в дом, где, как во сне Татьяны, идет шабаш, — она сначала встречает там квазивозлюбленного...

Напомним — и сопоставим — строки Пушкина и Булгакова.

Онегин тихо увлекает
Татьяну в угол и слагает
Ее на шаткую скамью
И клонит голову свою
Ей на плечо...

«Воланд широко раскинулся на постели, был одет в ночную длинную рубашку... Одну голую ногу он поджал под себя, другую вытянул на скамеечку. ...Он протянул руку и поманил к себе Маргариту. Та подошла, не чувствуя пола под босыми ногами. Воланд положил свою <...> руку на плечо Маргариты, дернул ее к себе и посадил на кровать рядом с собою»;

«...Воланд в сорочке сидел на постели... Воланд поманил ее, как и тогда, к себе и показал, чтобы она села рядом...».

Зачем я предлагаю эти соположения вниманию учителей-словесников? Прежде всего — для демонстрации учащимся того, как знание текстов Пушкина углубляет и утончает наше восприятие лучших образцов русской литературы XX века.

Но мой прицел — более далекий. И более прагматичный.

Глянем еще раз в глаза реальности. Да, школьники в большинстве своем не читают заданную им на дом русскую классику и весьма изобретательно камуфлируют свое незнание Пушкина и Гоголя. Но социологические опросы неопровержимо свидетельствуют — боль-

шинство из них *прочитало* включенный в школьную программу роман «Мастер и Маргарита». Многие — в 12—14 лет! Они любят этот роман и помнят, легко цитируют наизусть.

На мой взгляд, нужно использовать этот факт — *через Булгакова выводить учащихся к русской классике XIX—XX веков*. В первую очередь, к булгаковским кумирам — Пушкину и Гоголю.

...Не только «Евгений Онегин», но, например, и хрестоматийное стихотворение «Бесы»:

...В поле бес нас водит, видно,
Да кружит по сторонам.
.....
Там верстою небывалой
Он торчал передо мной;
Там сверкнул он искрой малой
И пропал во мгле пустой.

К не прочитанному своевременно пушкинскому стихотворению можно заново привлечь внимание, обратив внимание на некоторые страницы булгаковского романа:

«И тут знойный воздух сгустился перед ним, и соткался из этого воздуха прозрачный господин престранного вида.
<...> Господин *ростом в сажень*, но в плечах узок, худ
неимоверно...».

«Сажень» — то есть немного больше двух метров, да еще и узок в плечах — не тот ли, что в «Бесах» *напомнил верстовой столб?*.. Как известно, российский

верстовой столб был трехметровым, очень высокого человека называли «верста».

«Тут ужас до того овладел Берлиозом, что он закрыл глаза. А когда он их открыл, увидел, что все кончилось, марево растворилось, клетчатый исчез...».

Как у Пушкина: «...И пропал во мгле пустой».

Случай напомнить учащимся, что даже такое удивительное, ни на что не похожее произведение, как «Мастер и Маргарита», не берется из ничего — любая реальность, служащая ему материалом, все равно проходит сквозь призму предшествующего литературного опыта. Только у разных писателей — ориентация на разный опыт: у одних — на самые высокие образцы, у других — на низкие.

...Страшно, страшно поневоле
Средь неведомых равнин!

.....

Мчатся тучи, вьются тучи;
Невидимкою луна
Освещает снег летучий;
Мутно небо, ночь мутна.
Сил нам нет кружиться доле;
Колокольчик вдруг умолк;
Кони стали...

.....

Домового ли хоронят,
Ведьму ль замуж выдают?

.....

Мчатся бесы рой за роем
В беспредельной вышине...

Прочитаем сразу вслед:

«Боги, боги мои! Как грустна вечерняя земля! Как таинственны туманы над болотами. <...> Волшебные черные кони и те утомились и несли своих всадников медленно, и неизбежная ночь стала их догонять. <...> Ночь густела, летела рядом, хватала скачущих за плащи <...>. Когда же навстречу им из-за края леса начала выходить багровая и полная луна, все обманы исчезли <...>. Так летели в молчании долго, пока и сама местность внизу не стала меняться. Печальные леса утонули в земном мраке <...>» (финальная глава романа «Мастер и Маргарита» «Прощение и вечный приют»).

Не *заимствовано*, конечно, Булгаковым у Пушкина. Но скорей всего — Пушкиным *навеяно*. И кони, и невидимая луна, и быстрое движение в зловещей тьме, и ведьма Маргарита, скачущая рядом со своим возлюбленным, и бесы, и неземная тоска и страх...

Так еще раз мы видим, что Пушкин — неисчерпаем.

Небольшое отступление: в учебнике 9-го класса после текста пушкинского стихотворения следует его анализ. После заголовка «Поразмышляем вместе» начинается якобы совместное размышление:

«Глубокий общественно-философский и исторический смысл в стихотворении “Бесы” заключается в том, что в творческом сознании Пушкина укрепилась мысль о необходимости прочного союза между дворянством и крестьянством, и поэт ищет основания для сближения дворянина и народа. В “Бесах” оба участника бытовой сцены и исторического движения не знают верной дороги <...>

Пушкин имел в виду не только свою личную судьбу, но судьбу всей России, исторические пути которой ему также были неясны и, может быть, даже более неопределены, чем личная судьба».

Подростка, прочитавшего такой призыв к *совместному размышлению*, вряд ли потянет читать само стихотворение. В нем ведь уже не магия волшебных строк — «Невидимкою луна Освещает снег летучий» — окутывает тебя, а закладываются основания «для сближения дворянина и народа».

О мировоззрении Пушкина и многосложном отражении его в поэзии говорить надо или очень основательно (в гуманитарных классах, в школе Юного филолога), или — никак (в обычной школе). Да, буду на этом настаивать. Ведь не вдаваясь подробнейшим образом в детали мировоззренческого и биографического характера, все равно не понять, как смотрел Пушкин в эти именно годы на историческую судьбу России и свою собственную. И вышеприведенными беглыми сентенциями мы школьника никак не обогащаем. Зато сами стихи — наверняка затмеваем.

4. ГОГОЛЬ У БУЛГАКОВА

Гоголя Булгаков прямо называл своим *учителем*.

В ранних редакциях романа о Мастере он придавал герою портретное сходство с Гоголем.

Тот, кто хорошо помнит «Мастера и Маргариту», давно, увидел близость к «Вию» некоторых сцен романа.

Например — свет настольной лампы, освещающей кабинет финансового директора театра Варьете Римского, когда пред ним сидит администратор театра Варенуха. Он уже превратился в вампира, но Римский этого еще не знает — только смутно и с ужасом догадывается о чем-то непонятном и страшном,

«ни на мгновение не сводя глаз с администратора, как-то странно корчившегося в кресле, все время стремящегося не выходить из-под голубой тени настольной лампы...».

Темный кабинет — и только свет лампы, от которого прикрывается газеткой Варенуха, заставляет припомнить свечи в церкви в «Вие», которые освещают «только иконостас и слегка середину церкви», после чего и начинаются всякие страшные вещи.

Во вторую ночь гоголевский Хома

«слышал, как бились крыльями в стекла церковных окон и в железные рамы, как *царапали с визгом когтями по железу...*»

Нельзя не вспомнить, как у Булгакова в кабинете Римского голая девица, к его полному ужасу, *«ногтями начала царапать шпингалет и потрясать раму»,*

стремясь проникнуть внутрь. А на третью ночь у Гоголя уже внутри самой церкви «все летало и носилось, ища всюду философа». У Булгакова же все совершается в одну ночь, ускоренно.

Варенуха подпрыгивает возле двери, «подолгу застревающая в воздухе и качаясь в нем». Это — сильно уменьшенная картина того, что происходило в церкви в повести Гоголя. И когда в романе Булгакова с распахнувшейся рамой «в комнату ворвался запах погреб», то и здесь пахло Гоголем — от того «приземистого, дюжего, косолапого человека», который, как помнит всякий читавший Гоголя, весь был «в черной земле».

«...С треском лопнула железная крышка гроба и поднялся мертвец. Еще страшнее был он, чем в первый раз. Зубы его страшно ударились ряд о ряд, в судорогах задержались его губы и, дико взвизгивая, понеслись восклицания» («Вий»).

От повести Гоголя и его страшных мертвецов ведет свое происхождение нечисть — свита Воланда:

«...Она испустила хриплое ругательство, а Варенуха взвизгнула... девица щелкнула зубами...»

Напомним и «петуший крик» в «Вие»: «Это был уже второй крик», и под него «испуганные духи бросились кто как попало, в окна и двери, чтобы поскорее вылететь». У Булгакова прямо-таки вслед за гоголевскими персонажами — тоже после повторного крика петуха! — и мертвая девица, и Варенуха вылетают из окна, оставляя в комнате «седого, как снег, без единого черного волоса старика, который недавно еще был Римским...».

Напомним — именно это случилось столетием раньше с Хомой Брутом, героем «Вия»:

«Да ты весь поседел! <...> половина волос его, точно, побелела».

Персонаж Булгакова, получается, оказался покрепче Хома Брута — все-таки остался жив. Но ужасы, от которых седеют мужчины, переняты Булгаковым непосредственно у его любимого писателя. Гоголь, можно сказать, показал дорогу к этим ужасам в литературе — всегда кто-то первым пролагает путь новациям*.

Первая репетиция ужасов у Булгакова — в его повести «Роковые яйца» (задолго до начала работы над «Мастером и Маргаритой»). Там сначала из лопухов подымается какое-то огромное «сероватое и оливковое бревно», потом «на верхнем конце бревна оказалась голова... Лишенные век, открытые ледяные и узкие глаза сидели в крыше головы, и в глазах этих мерцала совершенно невиданная злоба». А дальше: «змея приблизительно в пятнадцать аршин и толщиной в человека, как пружина, выскочила из лопухов».

Умножаем 15 на 70 см (длина аршина) — получаем змейку длиной в десять метров...

И на глазах у Александра Семеновича Рокка эта змея толщиной в человека стала давить его жену Маню. «Изо рта у Мани плеснуло кровью, выскочила сломанная рука, и из-под ногтей брызнули фонтанчики крови», и так далее...

* О кошмарах у Гоголя, в русской и мировой литературе и вообще о кошмарах рекомендую: *Хапаева Д.* Кошмар: литература и жизнь. М., 2010.

«Вот тут-то Рокк и поседел. Сначала левая и потом правая половина его черной, как сапог, головы покрылась серебром»...

Точно так, как у Хомя Брута.

* * *

А теперь выскажем предположение о том, как одна фраза Гоголя дала Михаилу Булгакову нужную ему краску для изображения неприятеля в братоубийственной Гражданской войне.

В такой войне, как известно, убивают друг друга люди одного (или очень близких) этноса. Потому в распоряжении литератора, обратившегося к этой теме, нет того широкого диапазона средств, который всегда к его услугам для передачи нужной (отталкивающей) непохожести неприятеля-чужестранца.

В первой половине 20-х годов М. Булгаков погружен в материал гражданской войны. Он работает над романом о гражданской войне в Киеве с невероятно дерзким для тех лет названием «Белая гвардия» (для воевавших в ее рядах в советском публичном обиходе, устном и печатном, было лишь одно именование: *белогвардейская сволочь*). Пишет он и серию рассказов о том же — «Красная корона», «Китайская история» (1922), «Налет» (1924).

Булгаков, несомненно, ищет нужную ему подсказку. И находит ее у Гоголя, с текстами которого он в буквальном смысле не расстается. Близкими этих текстов полны его сочинения. Даже ключевое слово простенькой, но из-за одного именно слова незабываемой фразы — возгласа несчастного Ивана Бездомного в клинике Стравинского: «Так вот вы какие *стеклышки* у себя завели!» — подхваче-

но Булгаковым у Гоголя, в повести о капитане Копейкине: «Избенка, понимаете, мужичья, *стеклушки* в окнах, можете себе представить, полуторасаженные зеркала...». Итак:

«Тарас указал сыновьям на маленькую, черневшую в дальней траве точку, сказавши: “Смотрите, детки, вон скачет татарин!” Маленькая головка с усами уставила издали прямо на них *узенькие глазки* свои, понюхала воздух, как гончая собака, и, как серна, пропала, увидевши, что козаков было тринадцать человек».

Заметим — всего *один* выделенный нами эпитет передает далекий, не очень-то различимый (непонятно вообще-то, как в «точке» удастся различить «узенькие глазки»; тем очевидней их знаковость, символичность) облик неприятеля. Предполагаю, что именно благодаря этому эпитету враждебный автору «Белой гвардии» и его любимым героям лагерь петлюровцев получает любопытные физиогномические признаки.

Когда в ранней редакции романа «Белая гвардия» куренной допрашивал подозреваемого в дезертирстве сечевика, его «...хлопцы <...>, раскрыв рты, смотрели на сечевика. Жгучее любопытство светилося в *щелочках глаз*» («В ночь на 3-е число: Из романа “Алый мах”»).

Та же физиогномика — в сцене преследования Турбина петлюровцами в печатной редакции романа:

«Лишь только доктор повернулся, изумление выросло в глазах преследователя, и доктору *показалось, что это монгольские раскосые глаза*. Второй вырвался из-за угла и дергал затвор. На лице первого ошеломление сменилось непонятной, зловещей радостью.

— Тю! — крикнул он. — Бачь, Петро: офицер. — Вид у него при этом был такой, словно он, охотник, при самой дороге увидел зайца».

Но — заметим! — очи женщин Украины никогда не будут описаны подобным образом... Вот хотя бы во сне Алексея Турбина:

«Чьи-то глаза, черные, черные, и родинки на правой щеке, матовой, смутно сверкнули в сонной тьме».

То есть — речь только о двух станах *воюющих мужчин*, только о противниках, стоящих с оружием в руках лицом к лицу и вынужденных для успешности схватки искать враждебное в лицах друг друга.

Во время встречи Петлюры в Городе с колокольным звоном

«...в черные прорези многоэтажной колокольни, *встречавшей некогда тревожным звоном косых татар*, видно было, как металась и кричали маленькие колокола...».

Хотя Петлюру, по-видимому, встречают *резвоном* (татар же скорее всего встречали *набатом* — всполошным звоном), автор «Белой гвардии» осторожно настаивает на уходящей вглубь веков связи петлюровцев с азиатской, исторически враждебной русским стихией. Потому и описывает он будто бы унаследованные от трехсотлетнего ига «широкоскулые» лица со «щелочками»* глаз как физиогномически отталкивающие.

* Возможно, легкий блик этих «щелочек» брошен и на этнически далекого от петлюровцев Александра Семеновича Рокка.

Несомненно, читая в начале 1918 года стихотворение А. Блока «Да, скифы — мы! Да, азиаты — мы, / — С раскосыми и жадными очами!» (оно тогда у всех было на слуху), Булгаков никак не мог противостоять вместе с Блоком буржуазному цивилизованному Западу как уходящей культуре. Разве что — почерпнуть из этих строк поддержку для своей художественной интерпретации *раскосости* как признака враждебности той судьбе, которую он желал бы России...

Совсем не только петлюровцы, а и московский барин может быть увиден в том же азиатском ракурсе. В конце 1923 года, вскоре после «Дьяволиады» и в разгар доработки «Белой гвардии», Булгаков пишет рассказ «Ханский огонь». В центре сюжета — русский дворянин, приехавший инкогнито в красную Москву под видом иностранца. Он посещает тайком свою усадьбу, обращенную в музей. Прототип ее — Архангельское, бывшее имение Юсуповых. Татарское происхождение основателя того рода, который наследует главный персонаж рассказа, подчеркнута фамилией — Тугай-Бег. Примечательно, что Булгаков предполагал в 1929 году воспользоваться для публикации главы из ранней редакции будущего «Мастера и Маргариты» псевдонимом «Тугай» — перекликающимся не только с именем одного из его персонажей, но и с хорошо ему известным тюркским происхождением собственной фамилии.

Со стен усадьбы смотрят Тугай-Бег-Ордынские.

У этого человека, погубившего в повести «Роковые яйца» из-за своего невежества и замешенной на «передовой» идеологии самонадеянности множество людей, в том числе свою жену, — «*маленькие глазки* смотрели на весь мир удивленно и в то же время уверенно».

«Отливая глянец, <...> сидел в тьме гаснущего от времени полотна *раскосый*, черный и хищный, в мурмолке с цветными камнями, с самоцветной рукоятью сабли, родоначальник — повелитель Малой Орды Хан Тугай».

Автор холодно-беспощадно изображает последнего в роду Тугай-Бега, который, захваченный несбыточной мечтой о скором времени мести, «зажал бородку в кулак и стал диковинно похож на портрет *раскосого* в ермолке». Когда же он, поняв бесповоротность совершившегося («Не вернется ничего. Все кончено»), решает сжечь свою усадьбу — в его облике еще сильней проступает печать Азии, родство с древними захватчиками:

«...Взял со стола очки и надел их. Но теперь они мало изменили князя. Глаза его *косили*, как у Хана на полотне, <...> дернул щекой и, решительно *кося глазами*, приступил к работе».

Булгаков настойчиво играет одним и тем же «гоголевским» эпитетом (узкие = косые глаза). Почему, собственно, Тугай-Бег ему *враждебен*? Потому лишь, что готов вновь перейти к войне — к тому же запоздалой — внутри своего народа. Революция и закономерно вытекавшая из нее Гражданская, то есть братоубийственная война — главная вина всех русских, по мысли Булгакова. Об этом его первое литературное выступление — статья 1919 года «Грядущие перспективы».

Для Булгакова не отвоеванное своевременно с оружием в руках — потеряно (напомним слова генерала Чарноты в «Беге»: «Я на большевиков не сержусь. По-

бедили и пусть радуются»). И запоздалые разрушительные действия законного хозяина усадьбы отбрасывают его в глазах автора рассказа от цивилизованного, дореволюционно-российского, европейского (для Булгакова это — синонимы) — в азиатское, ведущее к хаосу. И, соответственно, отвергаются.

Добавим сюда же примеры из «Китайской истории»: «Старые китайские глаза при этом совершенно прятались в *раскосые щели...*», «В агатовых *косых* глазах от рождения сидела чудесная прицельная панорама», «Глуша боль, он вызвал на *раскосом* лице лучезарные венчики...». А также — из пьесы «Зойкина квартира» — реплика Манюшки, обращенная к китайцу: «Что я тебе, контракт подписывала, что ли, *косой?*».

* * *

Еще один гоголевско-булгаковский пассаж можно было бы назвать «*Колесо и экипаж*» — он поможет вернуть школьников к недочитанным или вовсе непрочитанным «Мертвым душам».

«...У Максима железные клещи вместо рук и на шее медаль величиною с колесо на *экипаже...* Ах, *колесо, колесо*. Все-то ты *ехало* из деревни “Б”, делая N оборотов, и вот *приехали* в каменную пустоту. Боже, какой холод» («Белая гвардия»; курсив наш. — М. Ч.).

Здесь самое значимое, может быть, слово — «*экипаж*». Именно ненужность, избыточность в данном сравнении и потому явная цитатность этого слова прямым образом отсылает нас к Гоголю:

«...Только два русские мужика, стоявшие у дверей кабака против гостиницы, сделали кое-какие замечания, относившиеся, впрочем, более к экипажу, чем к сидевшему в нем. “Вишь ты, — сказал один другому, — вон какое колесо! Что ты думаешь, доедет то колесо, если б случилось, в Москву, или не доедет?”» («Мертвые души»; курсив наш. — М. Ч.).

Так в воспоминании о гимназических годах возникает идеологический подтекст. Скрытая отсылка к Гоголю наводит на размышления о том, куда же заехало колесо *российской истории?*.. И в еще большей степени — доедет ли это колесо до *Москвы* вместе с Белой гвардией?..

...И уж конечно, *Явдоха* в «Белой гвардии» — не без Гоголя. Имя слишком яркое для уха русского читателя, чтобы не вспомнить иные литературные с ним встречи.

В «Старосветских помещиках» Пульхерия Ивановна, чуя свою смерть, поручает Явдохе своего мужа:

«*Смотри мне, Явдоха*», говорила она, обращаясь к ключнице, которую нарочно велела позвать: «когда я умру, чтоб ты смотрела за паном, чтобы берегла его <...>. Не своди с него глаз, Явдоха, я буду молиться за тебя на том свете, и Бог наградит тебя».

Диалог Василисы с Явдохой в «Белой гвардии» неуловимо напоминает вышеприведенный — и не только упоминанием имени Божьего («Что ты, Явдоха? — воскликнул жалобно Василиса. — Побойся Бога») или повтором обращения («*Смотри, Явдоха*, — сказал Василиса <...>, — уж очень вы распустились с этой революцией. *Смотри*, выучат вас немцы»), но и тем, что это вновь — та Явдоха, от которой зависит чье-то будущее...

5. БУНИН В «МАСТЕРЕ И МАРГАРИТЕ»

Еще одна тема для прочтения недочитанного — Булгаков и Бунин.

Летом 1976 года В. П. Катаев рассказывал мне в своем доме в Переделкине о том Булгакове, каким предстал он перед «гудковцами» в начале 1920-х годов. И припомнил среди прочего, как изумился, когда Булгаков вдруг прочел наизусть конец «Господина из Сан-Франциско» Бунина.

«Блок, Бунин — они, по моим представлениям, для него не должны были существовать! Его литературные вкусы должны были кончаться где-то раньше...»

В известном смысле это так и было. Но чтение Бунина не прошло бесследно для Булгакова-писателя. Рассказ, процитированный им Катаеву наизусть, отразился в его творчестве не раз.

Сначала в «Белой гвардии» — прямо, открыто.

«...Перед Еленой остывающая чашка и “Господин из Сан-Франциско”. Затуманенные глаза, не видя, глядят на слова: “...мрак, океан, вьюгу”».

Это — финальные слова рассказа. Можно, пожалуй, установить и полные данные книги, лежащей перед Еленой, — скорее всего это первое книжное издание «Господина из Сан-Франциско», давшее название сборнику (М., 1916).

Рассказ отразится и во втором романе Булгакова — «Мастер и Маргарита», — уже прикровенно и гораздо более сложно.

У Бунина описывается океанский пароход, плывущий из Америки: «По вечерам этажи «Атлантиды» зияли во мраке как бы огненными несметными глазами, и великое множество слуг работало в поварских, судомойных и винных подвалах». Пассажиры обедают в ресторане — под звуки оркестра, затем танцуют. В начале одного из таких обедов — уже не на пароходе, а в отеле на острове Капри — умирает один из пассажиров «Атлантиды», весьма богатый «господин из Сан-Франциско».

Реакция на известие об этом описана так:

«...И многие вскакивали из-за еды, опрокидывая стулья, многие, бледнея, бежали к читальне, на всех языках раздавалось: “Что, что случилось?” — и никто не отвечал толком, никто не понимал ничего, так как люди и до сих пор еще больше всего дивятся и ни за что не хотят верить смерти. <...> Через четверть часа в отеле все кое-как пришло в порядок. Некоторые, возвратясь в столовую, дообедали, но, молча, с обиженными лицами <...> тарантеллу пришлось отменить, лишнее электричество потушено, большинство гостей ушло в пивную...» (курсив наш).

А затем гроб плывет в трюме той же «Атлантиды», где наверху вновь обедают и танцуют.

Вот эта ситуация из очень памятного Булгакову рассказа и найдет отражение в романе — в главе «Дело было в Грибоедове», даже с невольными дословными повторами.

«И вдруг за столиком вспорхнуло слово: “Берлиоз!!”
Вдруг джаз развалился и затих, как будто кто-то хлопнул

по нему кулаком. «Что, что, что, что?!» — «Берлиоз!!!»
И пошли вскакивать, пошли вскрикивать...».

В самой первой редакции этой главы (сожженной автором и частично нами восстановленной или реконструированной) совпадений еще больше: «<Так> как <ясно было всем, ч>то был погибший <Берлиоз... атеисто>м, ясно было, что <он, как всякий из посетит>елей Шалаша, <был далек от мысл>и о смерти» (курсив наш).

Гром музыки, крики официантов, звуки, доносящиеся из подсобных служб, — все это вполне соотносимо со звуковым антуражем действия в рассказе Бунина:

«На баке поминутно взывала с адской мрачностью и взвизгивала с неистовой злобой сирена, но немногие из обедающих слышали сирену — ее заглушали звуки прекрасного струнного оркестра» и т. п.

Само сравнение ресторана с адом близко метафориче рассказа Бунина:

«...Мрачным и злобным недрам преисподней, ее последнему, девятому кругу была подобна подводная утроба корабля».

Наконец, как и в рассказе, в последней редакции романа посетители ресторана возвращаются к еде —

«...и кой-кто уже вернулся к своему столику и — сперва украдкой, а потом в открытую — выпил водочки и закусил» (курсив наш) и т. д.

Примечательно и сходство двух эпизодических персонажей — разной, но одинаково необычной внешности. И в рассказе, и в романе к ним привлечено внимание.

«Океан, ходивший за стенами, был страшен, но о нем не думали, твердо веря во власть над ним командира, рыжего человека чудовищной величины и грузности, всегда как бы сонного, похожего в своем мундире с широкими золотыми нашивками на огромного идола и очень редко появлявшегося на люди из своих таинственных покоев»; «гигант-командир, в парадной форме, появился на своих мостках и, как милостивый языческий бог, приветственно помахал рукой пассажирам» («Господин из Сан-Франциско»).

А вот метрдотель посреди ресторана в доме Грибоедова:

«И было в полночь видение в аду. Вышел на веранду черноглазый красавец с кинжальной бородой и царственным взором окинул свои владения».

Сказано к тому же, что пиратский бриг плывал под его командой. В последующем же диалоге со швейцаром (который даже «услыхал плеск волны за бортом») персонаж этот именуется однажды «командиром брига» — и это еще теснее сближает два произведения.

Уже в первой главе романа Булгакова протягиваются нити к рассказу Бунина. На Патриарших прудах, незадолго до смерти, Берлиоза охватывает необоснованный, но сильный страх. И вслед за тем

«знойный воздух сгустился перед ним, и соткался из этого воздуха прозрачный гражданин престранного вида. <...> Жизнь Берлиоза складывалась так, что к необыкновенным явлениям он не привык. Еще более побледнев, он вытаращил глаза и в смятении подумал: “Этого не может быть!..”».

И «в точности тот самый гражданин» появляется перед Берлиозом за минуту до гибели:

«Только сейчас он уже был не воздушный, а обыкновенный, плотский... <...> Михаил Александрович так и попятился, но утешил себя тем соображением, что это *глупое совпадение* и что вообще сейчас об этом некогда размышлять» (курсив наш. — М. Ч.).

Сопоставим с этим отрывок из рассказа Бунина:

«Вежливо и изысканно поклонившийся хозяин, отменно элегантный молодой человек, встретивший их, на мгновение поразил господина из Сан-Франциско: взглянув на него, господин из Сан-Франциско вдруг вспомнил, что нынче ночью, среди прочей путаницы, осаждавшей его во сне, *он видел именно этого джентльмена, точь-в-точь такого же, как этот*, в той же визитке с круглыми полями и с той же зеркально причесанной головой. Удивленный, он чуть было даже не приостановился. Но как в душе его давным-давно не осталось ни даже горчичного семени каких-либо так называемых мистических чувств (как в душе Берлиоза. — М. Ч.), то тотчас же и померкло его удивление: шутя сказал он об этом странном совпадении сна и действительности жене и дочери, проходя

по коридору отеля. Дочь, однако, с тревогой взглянула на него в эту минуту: сердце ее вдруг сжала тоска, чувство страшного одиночества на этом чужом, темном острове...» (курсив наш).

Так и у Берлиоза — сначала «гражданин» (бунинский «джентльмен») появляется как мираж (= сон), потом — в реальности. Это — предвестник наступающей в этот же день смерти. Понятно, что и Бунин, и Булгаков, прекрасно знающие Священное Писание, уверены, что их читатель вспомнит Гефсиманский страх Иисуса Христа, который начал «ужасаться и тосковать» (Мк, 14. 33), испытывать томление в Гефсиманском саду в предчувствии смерти.

Отметим и опережающее авторское указание в первой главе романа: «...изломанное и *навсегда уходящее* от Михаила Александровича солнце», также восходящее к бунинскому рассказу: «Что чувствовал, что думал господин из Сан-Франциско в этот столь *знаменательный для него* вечер?» (в чем *знаменательность* вечера, читателю Бунина еще неизвестно, как и читателя Булгакова должно бы удивить — почему это заходящее солнце уходит от Берлиоза *навсегда?*..).

Оба героя, и в романе и в рассказе, служат напоминанием толпе, тем, обедающим, не просто о том, что «человек смертен», но и о том, «что он иногда внезапно смертен», о чем безуспешно предупреждает Берлиоза сатана. Как Дьявол в рассказе Бунина следит «со скал Гибралтара, с каменистых ворот двух миров, за уходящим в ночь и вьюгу кораблем», так Воланд следит в романе за толпой посетителей ресторана, углубляющихся в хаос своей жизни и смерти.

6. НЕБОЛЬШОЙ ДИВЕРТИСМЕНТ

В 2007 году я ездила на машине по стране, проводя письменный конкурс среди школьников и студентов «Русским языком вам говорят!».

После завершения работы над ответами по русскому языку (подробней о конкурсе — в III части), я читала вслух пять-шесть фрагментов русской классики XIX—XX веков (под номерами — «Фрагмент 1-й», «Фрагмент 2-й»...). Предупредила, что писатели входят в школьную программу, но те произведения, откуда взяты отрывки, — не обязательно. Конкурсанты должны были попытаться определить — кто автор? Из какого произведения — я называть не просила. Только попытаться отличить стиль Толстого — от Тургенева или Бунина.

«...А теперь позвольте спросить вас: как изобразить всю эту сцену дурацкими человеческими словами? Что я могу сказать вам, кроме пошлостей, про это поднятое лицо, освещенное бледностью того особого снега, что бывает после метелей, и про нежнейший, неизъяснимый тон этого лица, тоже подобный этому снегу, вообще про лицо молодой, прелестной женщины, на ходу надышавшейся снежным воздухом и вдруг признавшей вам в любви и ждущей от вас ответа на это признание?»...

Честно говоря, наслушавшись за последние годы от всех и каждого, что школьники ничего не читают, а играют в компьютерные игры, я результатов почти не ждала. Задача моя была другая — пусть хотя бы послушают звучание классической русской речи.

«...Когда, подставивши стул, взобрался он на постель, она опустилась под ним почти до самого пола, и перья, вытесненные им из их пределов, разлетелись во все углы комнаты».

«...Он видел, что глубина ее души, всегда прежде открытая пред ним, была закрыта от него. Мало того, по тону ее он видел, что она и не смущалась этим, а прямо как бы говорила ему: да, закрыта, и это так должно быть и будет вперед. Теперь он испытывал чувство, подобное тому, какое испытал бы человек, возвратившийся домой и находящийся дом свой запертым».

...Пусть послушают, думала я, о чем и каким языком говорили их соотечественники около полутора веков назад, и сами поразмыслят — слишком ли отличались темы, способ рассуждения и самый язык от сегодняшних наших речей.

«— ...И вот еще что прошу заметить. Сойдется, например, десять англичан, они тотчас заговорят о подводном телеграфе, о налоге на бумагу, о способе выделять крысы шкуры, то есть о чем-нибудь положительном, определенном; сойдется десять немцев, ну, тут, разумеется, Шлезвиг-Гольштейн и единство Германии явятся на сцену; десять французов сойдется, беседа неизбежно коснется “клубнички”, как они там ни виляй; а сойдется десять русских, мгновенно возникает вопрос <...> о значении, о будущности России, да в таких общих чертах, от яиц Леды, бездоказательно, безвыходно. Жуют, жуют они этот несчастный вопрос, словно дети кусок гуммиластики (тогдашняя жвачка — пояснила я моим слушателям): ни соку, ни толку. Ну, и конечно, тут же достанется

и гнилому Западу. Экая притча, подумаешь! Бьет он нас на всех пунктах, этот Запад, — а гнил! И хоть бы мы действительно его презирали <...> а то ведь это всё фраза и ложь».

Как они слушали!..

Я сказала:

— Это трудная задача. (О трудности, кстати, можно было судить по лицам слушавших учителей. Сложная гамма чувств была на этих лицах!) Не смущайтесь, что не сумели определить всех авторов. Сможете определить трех — это будет очень хорошо. Двух — тоже очень неплохо. Неплохо даже одного определить. Вот если уж никого не определите — ну что ж, значит, перед вами загорится невидимый дисплей, на котором замигает надпись: «Мало читаешь, мало читаешь!».

И всё оказалось — представьте себе! — много лучше, чем все мы сегодня ожидаем.

Конечно, были и те, кто не сумели узнать никого. И в конце одного такого нулевого ответа юноша написал крупными печатными буквами: «Мало читаю, мало читаю!» и рядом круглую грустную мордочку — смайлик.

Не скрою от учителей, читающих эти строки, своего приятного изумления — никак не ожидала того, что немалая часть конкурсантов узнала-таки авторов фрагментов! Одного, двух или даже трех.

Встречались и такие ошибки, которые, может быть, не менее ценны, чем точное знание: когда, например, о фрагменте из бунинского «Легкого дыхания» девочка написала с неуверенным вопросительным знаком — «Тэффи?»

Но были вещи для меня совершенно непостижимые — хотя люблю биться до конца, разгадывая загадочное (один из моих коллег называет это с неодобрением «Комплекс отличницы»).

Обычно не угадавшие называли других известных писателей. Но были десятки работ, где авторами прозаических фрагментов были названы знаменитейшие поэты, включая Некрасова, Блока, Маяковского, Ахматову, Есенина... Ничего более непостижимого я в ответах не встречала: именно в посредственных по уровню работах автором заведомой прозы упорно называли заведомого поэта. Я понимала: можно принять Толстого за Тургенева. Но как можно прозу Толстого принять за стихи Тютчева или Ахматовой? .

Встала в тупик и выйти из него самостоятельно не могла. В Якутске, где конкурс был особенно многочисленным (это был, коллеги, мой личный рекорд: 178 работ по 13 страниц каждая пришлось мне проверить за ночь, чтобы определить к 12 часам следующего дня первую, две вторых, три третьих и поощрительные премии...), спрашивала у преподавателей — недоумевали вместе со мной.

И только лучший студент филфака Якутского университета (выросший, замечу, без отца, только на скудные материнские деньги), ставший лауреатом первой премии (я, конечно, знать ничего о нем не знала, решая уже под утро мучительный вопрос главной премии, — и вот совпало!), открыл нам глаза.

— Это все от ЕГЭ и подобных тестов. Там ведь один ответ правильный, а вокруг всякая чушь, никак с темой не связанная. И вот когда не знают, что ответить, — пишут что попало, чтоб заполнить место... Так и тут, видно, получилось.

...Последнее время, слушая рассказы знакомых профессоров-математиков о совсем новых свойствах первокурсников последних лет, начинаю лучше понимать этот казус. Рассказывают, что пять-шесть человек из группы с усилием вспоминают, кто такой Пифагор, три-четыре человека могут огласить его теорему. Но предложение *доказать* ее ставит в тупик всю группу.

— Они не просто не могут доказать, — пояснял мне профессор, — они, уже привыкшие выбирать ответ из четырех, и только — НЕ МОГУТ ПОНЯТЬ, ЧЕГО Я ОТ НИХ ХОЧУ.

7. ЕЩЕ О ГРУСТНОМ

Передо мной 36 «типовых экзаменационных вариантов», предложенных «авторским коллективом: Е. Н. Зверева, И. П. Цыбулько». По этим типовым вариантам девятиклассник должен готовиться к экзаменам по русскому языку. В книжке 36 отрывков из литературных произведений — на страничку с небольшим. С ними он и должен манипулировать, отвечая на разные вопросы касательно русского языка.

То есть была возможность дать прочитать подростку — хоть и поневоле — 36 отрывков прекрасной русской прозы. Независимо от нашей оценки данной структуры экзамена, внутри нее возникла форма популяризации в среде школьников лучших образцов отечественной литературы.

Конечно, не всякая проза подойдет для специальных учебных целей (указать слово с чередующейся безударной, заменить словосочетание одного типа другим и т. п.). Вряд ли, скажем, подойдут длинные, ветвящиеся фразы Толстого или Бунина. Но, конечно, не составляло труда найти нужный фрагмент у Пушкина, Лермонтова, Чехова... Или из XX века — у Юрия Олеши или Бориса Житкова. У современников — Кучерской, Улицкой, Андрея Дмитриева...

Однако реальный подбор оказался таким — Анатолий Алексин (3 фрагмента из 36), Юрий Яковлев (3), Альберт Лиханов (5 фрагментов; «Солнце плещется в соцветиях черёмухи, слепит глаза розовыми красками зари. Вот миновала ночь. Вечером — торжество, вручение аттестатов, танцы. Выпускной вечер моего класса...»), по одному — Т. Устинова, Л. Захарова

(«Елена Михайловна всегда с удовольствием ждала встречи с седьмым “А”, потому что они были ее любимцами и уроки в этом классе становились ежедневным праздником. <...> Урок русского языка, хотя и начался с большим опозданием, но прошел организованно, в обычной деловой обстановке. Елена Михайловна про себя (? — М. Ч.) решила предложить коллеге обсудить ситуацию <...>». Такая проза), Ю. Грибов.

По одному, наравне с Т. Устиновой и Л. Захаровой, — Л. Андреев, Л. Пантелеев, В. Осеева, В. Катаев, Ф. Искандер, Ю. Домбровский, Л. Улицкая... Им всем, надо понимать, далеко оказалось по литературному качеству до Алексина и Лиханова.

Три фрагмента из переводной литературы; Сетон-Томпсон и Сент-Экзюпери — замечательные писатели, но раз уж они предложены для анализа с точки зрения русского языка, то следовало бы, наверно, хотя бы указать имена переводчиков, поскольку предмет рассмотрения — именно их владение русским языком.

Далее идет материал, предложенный для сочинения «не менее 70 слов»: «Напишите сочинение-рассуждение, раскрывая смысл высказывания Е. В. Джанджаковой: “Художественный текст заставляет обратить внимание не только и не столько на то, что сказано, но и на то, как сказано”»; «Напишите сочинение-рассуждение, раскрывая смысл высказывания современного лингвиста Ираиды Ивановны Постниковой: “Способность слова связываться с другими словами проявляется в словосочетании”» (честно признаюсь, что затруднилась бы в написании сочинения-рассуждения, раскрывающего смысл этого высказывания).

Да, здесь тоже был большой простор для расширения культурного кругозора школьников. Но их предпочли знакомить с афористикой современных лингвистов, имена которых они, разумеется, забудут непосредственно после экзамена.

Не хочется никого обижать, но если цитируются Джанджакова и Постникова, то где гордость отечественной лингвистики академик Андрей Зализняк? Блеск его публичных лекций, яркость языка, кажется, никто не возьмется отрицать. Так почему ж не познакомить с этим именем и с подписанными им текстами школьников?..

8. ПРОХОДИТЬ – ИЛИ ВСЕ-ТАКИ ЧИТАТЬ?

К Пушкину, Гоголю, Бунину через Булгакова — это, конечно, лишь один, причем дополнительный вариант.

Главный же ресурс — другой. Ради того, чтобы убедить учителей *принять его*, и пишу я эту небольшую книжку.

...Мое предложение требует от учителя большой смелости, потому что идет наперерез вековой — как я уже пояснила — традиции. Но сегодня самое время ее, наконец, разрушить.

Начну с крайне важного отличия (которому не придается должного значения) уроков литературы от других предметов: в других школьных дисциплинах материал для усвоения содержится *в самом учебнике*. Прямо из учебника мы узнаем не только нечто о теоремах в геометрии и законах физики, но и *сами эти теоремы* и законы. Учебник же литературы в старших классах *отделен* от самой литературы. Теперь, правда, сделан важный шаг — внутри учебника немало стихотворений, включена и небольшая проза — «Бедная Лиза». Но ведь нет там ни «Мертвых душ», ни пушкинских повестей, ни романов Тургенева, Толстого и Достоевского. Получается, что на уроках литературы и дома, готовя заданное по учебнику, надо усваивать не литературу, а что-то другое — вместо нее.

Но как, интересно, усвоить все эти интерпретации учителя и учебника, если ты само прославленное произведение не читал и читать не собираешься?

Секрет ларчика, который просто открывался, был объявлен еще в том же мною не раз упомянутом 1915 году. Но мы, как известно, долго запрягаем. А потом

либо быстро едем невесть куда, либо никуда не едем, а судорожно ищем свой особый, ни у кого, борони Бог, не заимствованный путь.

«Совершенно необходимо, — писал Б. М. Эйхенбаум, — чтобы текст каждого изучаемого произведения прочитывался в классе, хотя бы частями, потому что никакой пересказ, никакая “характеристика” *не может заменить текста*».

Выделено нами, и прибавить к этому нечего. Это именно то, повторю, ради чего я пишу эту книжку.

Сегодня этому противостоят все власти, занятые образованием. Лев Айзерман приводит чудовищные примеры:

«Одна учительница рассказывала мне, что ей сделали замечание, зачем она тратит время на чтение “Двенадцати” Блока. Другой — за то, что читала на уроке “Реквием” Ахматовой»*.

Теперь — внимание! Будем рассуждать логически.

Те, кто делали учительнице замечание, я уверена (или — хочется верить):

1) точно знают, что поэма Ахматовой *«лучше»* рассуждений любого методиста — то есть того, что, предполагается, должен был втемяшивать в головы учеников учитель в то самое время, которое было им *«неэффективно»* потрачено на чтение прославленной поэмы,

* Айзерман Л. Указ. соч. С. 121.

2) точно знают (не маленькие!), что если текст поэмы не прозвучит на уроке — подавляющее большинство заканчивающих среднее образование не прочтает ее *никогда*.

И — что?..

Все наши рассуждения приводят к однозначному, видимо, ответу, который мысленно дают эти люди: «И пусть!..»

Так как для меня, как, надеюсь, и для большинства моих читателей, — в высшей степени не «пусть», то вот что настоятельно (пока не поздно) предлагаю.

Поскольку школьное поле вот уж сколько лет как расчищено все-таки — не будем отрицать очевидного! — от прямой догматики, то самое время радикально реформировать уроки литературы.

Предлагаемый мной рецепт (мало в чем была так уверена, как в этом, хотя он резко противоречит сегодняшней ориентации школы на ЕГЭ; но ведь и не такие стены в нашем отечестве падали!):

не менее получаса из 45 минут каждого урока читать вслух классические тексты.

Частично — учитель (если он уверен в достаточной выразительности своего чтения). Частично — те из школьников, кто умеет читать не запинаясь и не бубня.

Это — совсем не то, что нацепить каждому наушники с аудиокнигами.

Чтение вслух на уроке — если чтецы к тому же сменяют один другого — *оживляет внимание*, создает некое действие вместо пассивного, сегодня господствующего, потребления информации.

А что же учебник?

«Учебник должен представлять собой исключительно справочную книгу, в которой ученик мог бы найти изложение биографических фактов, хронологию произведений, литературу о писателе и проч. *Все остальное должно быть исключено* (выделено нами. — М. Ч.). Работа должна слагаться из чтения текста с попутными остановками, из беседы учителя с учениками после прочтения и из докладов, которые составляются учениками на основе материала» (Б. М. Эйхенбаум).

Последнее требование сегодня нуждается в ревизии — тогда ведь Интернета не было... Б. Эйхенбаум верил в самостоятельную работу докладчиков.

9. МИМО ДОСТОЕВСКОГО?

Глава о Достоевском в учебнике 9-го класса наводит на еще одно соображение.

Из десяти примерно страниц, посвященных предварительному, как я понимаю, знакомству со всем его творчеством (к этому моменту подавляющее большинство девятиклассников еще не читало ни одной его строки), полстраницы отдано описанию духовного перелома в годы каторги:

«...Если раньше писатель был сторонником “западного” пути развития, т. е. по образцу европейских буржуазных демократий, то после каторги он видит дорогу России в обращении к патриархальности как подлинной национальной демократии, основанной на православной вере.

Особая миссия России видится ему в том, чтобы служить примером идеальных духовных ценностей всему человечеству (вновь не очень по-русски — *примером ценностей человечеству*, — но опять-таки не о том сейчас речь. — М. Ч.). Последняя истина, по мнению Достоевского, заключена в Божьем слове, высказать которое Бог доверил православной церкви. Следовательно, Российское государство, по мнению писателя, должно быть религиозно-светским, где решающая роль принадлежит вере. Только вера сулит общее согласие, содружество, взаимопомощь. Обретение веры означает обретение почвы. Преодоление разобщенности примирит народ и интеллигенцию, оживит братские чувства. С этих позиций Достоевский приступает к изданию журналов “Время”, потом “Эпоха”».

Теперь попытаемся представим себе *реального читателя* этих высокопарных фраз — пятнадцатилетнего подростка, еще, повторим, вовсе не читавшего Достоевского.

Зададимся вопросом — какой смысл в том, чтобы давать ему в кратчайшей (а значит — просто *поступающей*) форме информацию о сложнейшей проблеме мировоззрения Достоевского — теме толстых специальных монографий?..

Ведь мы-то должны познакомить школьника отнюдь не с издателем журналов и его позицией по поводу «последней истины». Даже не с Достоевским-публицистом. А — с *писателем*. Наш предмет изучения — *литература*. Российский школьник должен прежде всего узнать повести и романы Достоевского — бесконечно более богатые содержанием (в этом — специфика литературы), чем его прямолинейным публицистическим образом выраженные убеждения.

Утверждаю, что тонкая и многосоставная проблема взаимосвязи творчества и политических взглядов выдающихся писателей оказывалась не по зубам и крупным философам и литературоведам. Потому в наиболее сложных случаях достаточно сообщать на уроке, что такая проблема *существует*, и того, кто прочитает все романы писателя и захочет понять систему его политических взглядов, вы готовы снабдить нужной библиографией.

Оправдывать себя чем-то вроде того, что вот, мол, зато мы *теперь наконец-то* говорим *сегодняшнему школьнику правду* о взглядах Достоевского (именно это прочитываю я за рассуждениями авторов учебника на эту тему) — самообман. Правда, которая подростку не по

зубам, — вовсе не правда. Это как раз то самое, от чего (напомню вновь известные и важные слова) предостерегает Священное Писание: *не соблазняйте малых сих*.

Средний подросток воспримет тезисы о взглядах Достоевского как обычную абракадабру учебника. Более же вдумчивый придет в замешательство: он живет в светском государстве, приближающемся по общественной структуре к западным демократиям, так кто же прав — великий писатель или мы, грешные?.. И на что ориентироваться ему самому в его формирующихся политических воззрениях?

Отрочество — не тот возраст, который пригоден для таких рискованных экспериментов!

Тем более, что мы живем в обществе, где сто пятьдесят лет сохранялся литературоцентризм и очень живуч стандарт представления о писателе как носителе истины в последней инстанции по всем вопросам (любимые ссылки ксенофобов: «Пушкин не любил поляков», «Гоголь не любил евреев» — значит, такая нелюбовь похвальна; подробнее относительно обоюдоострой проблемы российского литературоцентризма — далее). И в пятнадцать лет просто рано нырять в этот кипяток, из которого далеко не всякий взрослый вынырнет.

Потому предлагаю держаться фарватера: в великом писателе самое ценное для нас — его сочинения.

10. БИОГРАФИЯ, ПРОТОТИПЫ, ПРООБРАЗЫ

Другое дело — живые подробности *конкретной биографии* писателя.

Интересно, например, противопоставить на уроке вековому ходячему представлению о родном городе Чехова Таганроге как о чем-то вроде гоголевского Миргорода со стоячей жизнью российского захолустья реальный Таганрог 1860-х годов, описанный в книге А. П. Чудакова «Антон Павлович Чехов: Книга для учащихся» («Просвещение», 1987; в 2013 году переиздается издательством «Время» с большим количеством фотографий), где таганрогское детство и отрочество Чехова предстали в необычном свете: «Это был южный, портовый город».

Улица, на которой родился Чехов,

«одним концом упиралась в грязную площадь, другим выходила на высокий обрывистый морской берег. Из второго этажа дома Моисеева, где Чеховы жили в первые гимназические годы Антона, был виден рейд. В разгар летней навигации пароходам и парусникам со всего света было тесно в гавани.

Таганрог ощущал себя городом морским. <...>

В статистических сведениях о жителях города по сословиям была графа: вольные матросы.

Открытый в 1874 году Таганрогский мореходный класс давал выпускникам дипломы штурманов малого плавания.

<...> На улицах звучала разноязыкая речь. В ясные дни тротуары ближних к порту улиц были запружены толпой — здесь были греки, турки, французы, англичане...

Когда Чеховы жили в доме Третьякова, над лавкой Павла Егоровича располагалось казино мсье Трилля. Рядом была гостиница “Лондон”, по вечерам там играл дамский оркестр, туда приходили моряки. Ходили слухи о похищении девушек для турецких гаремов.

<...> Вечером на улицах из окон слышались арии из “Севильского цирюльника”, “Роберта-Дьявола”, “Риголетто”. Оперой увлекались все — гимназисты, горничные, извозчики, негоцианты. Миллионер Алфераки, сам музыкант-любитель, содержал на свой счет итальянский оркестр, игравший все лето в городском саду (вход туда в гимназические годы Чехова был бесплатный).

<...> “Там все Европой дышит, веет”, — писал о другом приморском городе, Одессе, Пушкин. В Таганроге, как говорил Чехов, лишь “пахло Европой”, но и этого хватало, чтобы почувствовать, что “кроме этого мирка, есть ведь еще и другой мир”».

* * *

К весьма короткому, на наш взгляд, набору сведений литературоведческого порядка, обязательных для школьного курса литературы (и при умелой подаче, несомненно, интересных для школьников), относим и проблему *прототипов*. Ведь тех, кто *читает* классиков, непременно интересуется, говоря словами Лермонтова:

С кого они портреты пишут?

Где разговоры эти слышат?..

Пример — среди вопросов, которые задают экскурсоводу школьники, пришедшие в Музей Булгакова

в Москве (знаменитую «Нехорошую квартиру»), едва ли не самые частые — «Кто прототип Мастера?» и «Кто прототип Маргариты?».

Нет ничего тривиальней того соображения, что литература черпается «из жизни». Важно понимать — а что же дает нам знание (разумеется, весьма приблизительное) того, как именно это происходит? Что, собственно, мы хотим узнать, погружаясь в поиски прототипов? Есть ли *закономерность* трансформации прототипа — в персонаж у тех или других писателей?

В одной из своих давних работ А. П. Чудаков писал:

«Вопрос о прототипах всегда рождает спор: “списано” или преобразено? Повода для спора нет. Художник, конечно, “списывает” <...>».

Но — и

«трансформирует, организуя материал реальности по законам своего художественного мира.

Проблема в другом. Какие черты прототипа берет писатель? Какие моменты *прототипической ситуации*? Что из деталей предметного ареала?»*

И тогда выясняется, например, такая подробность: насколько «обыденны» чеховские фабулы, настолько же на уровне предметного мира характернейшей чеховской чертой «была деталь редкая и резкая». Ее-то он и заимствовал у реальности живьем.

* Чудаков А. П. Поэтика и прототипы // В творческой лаборатории Чехова. М., 1974. С. 182.

Так, в работе над «Попрыгуньей» он из реального дома Кувшинниковых «предельно полно использовал все необычное». Понятно, что такие детали мгновенно были опознаны — и это сразу же «получило в глазах затронутых лиц силу непреложного доказательства “пасквильности”», заслонило в их глазах «сам художественный результат»^{*}. И художник Левитан (Кувшинникова, детали домашней обстановки которой Чехов позаимствовал для своей «попрыгуньи», была его возлюбленной), друживший с Чеховым, стал его врагом до конца дней...

Пока речь шла о прототипических *деталях*.

Для разговора о прототипах *персонажей* можно разделить работу писателя на два разных случая.

В первом — прототип остается *частью творческой истории*. То есть — разыскивая прототипы и прототипические детали, мы иногда находим то, что автору не удалось скрыть. Но наше *обнаружение* этих следов работы вряд ли входило в творческие намерения автора — и вряд ли что добавит к нашим впечатлениям от его героев.

Во втором же случае прототип *встроен* в законченный текст таким образом, что отсылка к нему предполагается — подобно тому, как в цитате из классика предполагается отсылка ко всем известному источнику: писатель «не хочет» скрывать эту связь.

Здесь мы выделим, условно говоря, прообразы — сначала те, что носят одно имя с литературным героем, то есть лица исторические: Наполеон, Кутузов, Александр I, Растопчин, Сперанский в «Войне и мире»,

* Там же. С. 189—191.

а затем и те, что изображены под не своими именами, с большей или меньшей удаленностью от «оригинала».

Тут неминуема для квалифицированного читателя некая ревизия и биографических фактов, которыми располагал автор, и той легенды об историческом лице, что бытовала в момент работы писателя. То есть мы соотносим толстовского Кутузова с таким, какой бытует или бытовал в общенациональном знании о нем. Именно на такое соотнесение Толстой и рассчитывает — в этом полемический пафос персонажа. Сопоставление текста с пластами внетекстовой реальности, несомненно, проясняет художественную концепцию автора. Для читателя, который вообще ничего не знает о Кутузове (хотя такого в России и трудно себе представить, но будем смотреть на вещи трезво), персонаж Толстого — смешной толстяк.

К тому же случаю (персонаж с отсылкой к прообразу) отнесем и персонажей, ориентированных на определенное историческое лицо, но носящих другое имя, иногда сходное — Денисов (Денис Давыдов) у Толстого, иногда намекающее созвучием — Драгоманов (гениальный лингвист Е. Д. Поливанов) или вносящее некую авторскую оценку — Некрылов (В. Б. Шкловский) — персонажи в романе В. Каверина «Скандалист, или Вечера на Васильевском острове», Тептелкин (литературовед Л. В. Пумпянский) в «Козлиной песне» Вагинова. Если не учесть ореол отношения современников к Денису Давыдову или полемический налет отношения Каверина к Шкловскому на фигуре Некрылова — художественный эффект может оказаться неполноценным.

Если персонаж заключает в себе отсылку к писателю — это нередко акт литературной полемики. Отсы-

лающие к прообразу реплики тогда являются цитатами, реминисценциями из напечатанных или имеющих широкое хождение в определенной среде литературных текстов. Персонаж рассчитан на то, что его прообраз должен быть узнан. Без этого пропадает, например, в романе «Бесы» памфлетность Кармазинова (прообраз — И. С. Тургенев). Тут — разница в восприятии между современниками автора (которые сразу угадывали прообраз) и следующими поколениями читателей: они узнают подоплеку персонажа исключительно из комментариев к академическим (то есть научным) изданиям романа, становящимся подспорьем для чтения текста, для более полного понимания персонажа (стоит осветить школьникам эту нередкую роль научных комментариев).

Вообще между «хотел изобразить данное лицо» и «воспользовался некоторыми чертами» — большая дистанция.

В. Б. Шкловский ввел термин — «памфлетный мемуарный роман». Яркий пример — роман А. Наймана «Б. Б. и др.» (1997). Для подавляющего большинства читателей, не осведомленных о прототипах и подоплеках, это — обычный роман. Для малой части осведомленных — пасквиль, приведший к серьезному эксцессу (публичной пощечине автору от главного прототипа — профессора одного из европейских университетов, приехавшего с этой специальной целью на Франкфуртскую книжную ярмарку, где в тот год главным гостем была Россия; мы считаем возможным упомянуть об этом эксцессе именно в силу его публичности: он был широко отражен в газетах).

Расчет на узнаваемость — проекция — может быть и достаточно определенным, и расплывчатым или

многозначным. Нередко быстро распространяется «информация», что в романе (в пушкинское время — в эпиграмме) «изображен такой-то»!

Проекция может оказаться мнимой — достаточно слуха о ней. Именно это изображено в «Кабале святош» М. Булгакова: «У нас совершенно точные сведения о том, что борзописец вас, маркиз, вывел в качестве своего героя Дон Жуана»^{*} и становится достаточным поводом для дуэли.

Имя некоего реального лица может сохраняться ради его шаржирования в глазах локальной аудитории: некто Мориц (реальная фамилия), мельком упоминаемый в «Собачьем сердце», наделен Булгаковым чертами, известными всей «Пречистенке»:

«Он карточный шулер, это знает вся Москва. Он не может пропустить ни одной гнусной модистки».

В «Бесах» Достоевского есть немаловажный персонаж — Степан Трофимович Верховенский. Его прямым прототипом был блестящий университетский профессор 1840-х годов Тимофей Николаевич Грановский: в рукописях романа Верховенский почти повсеместно именуется Грановским; Достоевский рассчитывал на узнавание прототипа в персонаже. Но, как замечательно показал один из исследователей, кроме него, «компонентами в сложный образ» Верховенского входили также Тургенев (несмотря на то, что, как уже сказано, в том же романе он подробно изображен в Кармазинове!) и поэт и драматург Кукольник:

* Булгаков М. А. Пьесы 1930-х годов. СПб., 1994. С. 47.

«Степан Трофимович, рассказывает хроникер “Бесов”, походил “на портрет поэта Кукольника ... особенно когда сидел летом в саду, на лавке, под кустом расцветшей сирени, с раскрытой книгой подле”. Но у Верховенского не только “портретное” сходство с Кукольником, но и характерная для Кукольника манера за бутылкой среди друзей “учительствовать”. Стоит прочесть в “Воспоминаниях” И. И. Панаева любую из бесед Кукольника со своими читателями, как перед нами воскресают подобные же частые монологи Верховенского в кругу своих друзей»*.

То есть прототипы — очень вольная сфера: автор чувствует себя свободно, посылая свои стрелы в разных направлениях. Зато он и всегда под обстрелом: ну можно ли написать персонажа, не похожего ни на кого решительно?! Разве что марсианина. Так что любой «отрицательный» или даже «слегка отрицательный» персонаж — готовый состав преступления автора в чьих-то глазах.

Подросток на уроках литературы должен усвоить еще одно: установление прототипа симпатичного героя — это не звание, не медаль, не звездочка на погонах того, кто оказался прототипом. Надо еще в школе отгородить подростка от участия в неумных играх взрослых людей, которые с пеной у рта доказывают, скажем, что прототипом Маргариты в романе Булгакова с ее именем в заглавии была не третья его жена Елена Сергеевна, а какая-либо другая — так сказать, более «достойная» — женщина (то же, скажем, происходит

* *Альтман М. С. Достоевский. По векам имен. Саратов, 1975. С. 89.*

с Ольгой Ивинской — прототипом Лары из романа романа Пастернака «Доктор Живаго»).

В сфере прототипов ставятся и очень серьезные полемические задачи. Булгаков рассчитывал, что в беспощадном портрете персонажа «Белой гвардии» Шполянского узнает себя не только прототип — В. Б. Шкловский (что и произошло — Шкловский сам спокойно удостоверил это в печати и в наших личных беседах), но и другие близкие ему (по политической позиции и месту, занятому в кровавых боевых действиях) участники киевских событий зимы 1918/1919 годов.

А Берлиоз в «Мастере и Маргарите» спроецирован на многих сразу — на Л. Авербаха (автора первого резко отрицательного отклика в печати на творчество Булгакова), Луначарского, Михаила Кольцова — типового советского редактора-функционера, — на тех, кого Булгаков считал своими врагами (имея на то полные основания).

Любому из них вольно́ было узнавать себя в мало-приятном персонаже.

Луначарский умер прежде, чем роман был дописан. Другие прообразы были казнены во второй половине 30-х годов. Но фигура Берлиоза формировалась еще в 1928 году (за 4 года до роспуска РАППа, возглавляемого Л. Авербахом, яростно преследовавшим Булгакова), и полемический заряд в ней силен. Смерть Берлиоза — среди прочего акт литературной мести тем, про кого Булгаков написал еще в 1924 году в автобиографии: «...Возненавидел редакторов, ненавижу их сейчас и буду ненавидеть до конца жизни». В ранней редакции романа Берлиозу даже отказано автором в приличном погребении: как удалось узнать из реконструирован-

ной нами этой редакции (1928) романа, катафалк с его гробом, нахлестываемый полубезумным Иваном Бездомным (отбившим тело своего друга Берлиоза у траурной процессии), обрушивается с Крымского моста в Москву-реку...

Вообще для Булгакова шарж, заключенный в тексте, — нередко способ разделаться с наступающей на него современностью.

Тайно передавая в 1960-е годы в Германию (своим немецким родственникам в ФРГ) рукопись «Записок покойника», Е. С. Булгакова, по свидетельству ее племянника, «предварительно подробно прокомментировала» содержание романа,

«потому что речь шла о сатире на Московский Художественный театр и на всех его деятелей, начиная со Станиславского и Немировича-Данченко, которые представлены под другими именами. Булгаков начал этот роман, когда в 1936 году в ярости расстался с МХАТом»^{*}.

В романе, пишет проницательный исследователь Булгакова Мирон Петровский, «есть эпизод, становящийся как бы ключом к бесчисленным шаржам и пародиям этого произведения» — далее цитируется изображение талантливым актером пресловутого (в роман так и не попавшего) Аристарха Платоновича:

* Из послесловия О. Нюрнберга (племянника Е. С. Булгаковой) к немецкому изданию ее дневника: *Aus dem Leben von Elena Bulgakova // Bulgakova J. Margarita und der Meister*. Berlin, 1993 (перевод предисловия выполнен по моей просьбе Г. Гавевым). Курсив наш.

« — Какой актер! — подумал я. Я понял, что он изображает Аристарха Платоновича. Понял — хотя никогда в жизни не видел Аристарха Платоновича»».

То же чувство остается у читателя «Записок покойника» («Театрального романа»):

«читатель совершенно уверен в сходстве булгаковских шаржей и наслаждается их острой талантливостью, даже если не знает и не догадывается, на кого они»^{*}.

(Не могу удержаться, чтобы не привести слов Е. С. Булгаковой в одной из наших бесед: — Немировича Бог спас, — с мечтательной улыбкой говорила она, — Миша не успел изобразить его... Ему должна была быть посвящена вся вторая часть романа. У Миши все уже было придумано... Какие злые сцены он мне разыгрывал!..).

Прототипы чеховской «Попрыгуньи» вообще не являлись для писателя *прообразами* (что не уберегло автора от разрыва с Левитаном). Перед нами скорее — первый из двух случаев: прототип остался частью творческой истории, каким бы резким сходством с бытом Кувшинниковой не обладали выхваченные автором рассказа подробности. Да, их «прототипичность» крайне важна была Левитану. Но она совсем не важна рядовому читателю для лучшего прочувствования замечательного рассказа.

Прототипичность деталей — точка связи литературы с «жизнью», с обществом. Художнику представляет-

* Петровский М. Мастер и город: Киевские контексты Михаила Булгакова. Киев, 2001. С. 219—220.

ся, возможно, в момент работы, что он, забирая куски «жизни» в свое творчество, их полностью аннигилирует. Но это не так — они остаются на месте, нередко реагируя и протестуя...

Бывают прототипические черты более ослабленные, чем в случае Кувшинниковой и Левитана, но при этом в большей степени значимые.

Такая фамилия героя, как *Птицын* — денежный делец в «Идиоте», ассоциировавшийся у современников (это показал М. С. Альтман) с петербургскими дельцами *Ворониным* и *Утиным*, устанавливала важную, по-видимому, для автора — и для его тогдашнего читателя! — прямую связь с современностью. Эту связь восстанавливают комментаторы. Однако ее утрата для читателей следующих поколений едва ли может помешать их восприятию текста романа.

Понятно, что современники улавливают в тексте немало аллюзий, со временем утрачиваемых. Классический пример — «Божественная комедия» доходит и до тех читателей, которые ничего не знают о войне гвельфов и гиббелинов (хотя, наверно, эта война немало добавляла к восприятию читателей-современников).

Однако в текстах, которые мы относим к классике, утрата связи с современным контекстом может сопровождаться высвобождением некоего потенциала, современниками не замеченного: сегодня в России мы наблюдаем это на восприятии подростками романа «Мастер и Маргарита». Его исторический фон (который старшим поколениям кажется совершенно необходимым для постижения романа) для них в значительной степени утрачен — а живой и даже жгучий интерес к роману таинственным образом сохраняется!

11. ТАЙНОПИСЬ АВТОРА

Литературных персонажей, рассчитанных на узнавание прообраза, можно представить себе в виде *двухконтурных фигур*: внешний, «большой» контур, ориентированный на неопределенную читательскую аудиторию, более расплывчат, но очерчивает многозначный объем, открытый толкованиям. Внутренний, «малый» — адресует персонажа сравнительно узкой аудитории «знатоков».

Этот контур очерчен гораздо более четко. Он плотно заполнен отсылками к вполне конкретной *внетекстовой* информации. Это, например, то знание атмосферы МХАТа, которым обладали слушатели-друзья Булгакова (при жизни автора) и некоторые читатели посмертных публикаций «Записок покойника». Мы многого уже не знаем — но все равно смешно.

В принципе такой *внетекстовой* информацией может владеть и *единственный* адресат.

Вот пример, который был нами в свое время подробно разработан*: в разговор Воланда, Маргариты и Мастера в 24-й главе романа *вписаны* Булгаковым цитаты из его собственных писем Сталину, которые, по мысли автора, могли быть известны только адресату.

Дело в том, что именно Сталин должен был стать первым читателем романа. Булгаков надеялся, что, начав читать его рукопись, *первый читатель* романа узнает строки полученных в свое время от автора писем (Булгаков был простодушно, мы бы сказали,

* См.: Чудакова М. Соблазн классики // Atti del Convegno «Mikhail Bulgakov» (Gargnano del Garda, 17—22 sett. 1984). Milano, 1986. Vol. I. P. 75—104).

уверен, что Сталин так же хорошо помнит тексты его писем, как он сам) — и обратит внимание на новую информацию, вложенную туда автором.

После снятия со сцены всех его пьес весной 1936 года Булгаков не раз слышал советы — писать письмо *наверх*, то есть Сталину. Целый год в дневнике Елены Сергеевны отражаются метания по этому поводу. Две записи подводят под ними черту: 5 октября 1937 года — «...Надо писать письмо наверх. Но это страшно»: идет уже кровавый 1937-й год. 23 октября 1937 — «Выправить роман и *представить*».

Куда и кому «представить»? — для современников тут разночтений не было: только Сталин мог решить судьбу нового сочинения автора, которого уже десять лет к этому моменту не печатали (ни одной строки!), чьи пьесы лежали в шкафу. Роман должен был в каком-то смысле заменить письмо, которое было «страшно» писать.

На несколько писем Булгакова Сталин так и не ответил: все началось и окончилось телефонным разговором 1930 года — в ответ на *первое* письмо. Писатель не знал, достигли ли его письма того, кому были адресованы.

Теперь, вернувшись к интенсивной работе над романом, он надеялся, что это *новое письмо* дойдет до адресата.

Потому, помимо многих истолкований известнейшей реплики Воланда «Рукописи не горят!», можем предложить и такое: эта реплика адресована *непосредственно Сталину*. Она должна была, по мысли автора романа, напомнить ему фразу из письма Булгакова правительству СССР 1930 года: «И я сам, своими руками, *бросил в печку черновик романа о дьяволе...*» (поч-

ти буквально повторенную впоследствии Мастером: «...Я сжег его в печке»).

Эти слова Воланда Сталин мог прочесть, само собой понятно, лишь в том случае, если бы ему на стол лег роман.

И тогда (так реконструирую я замысел Булгакова) Сталин (будто бы, повторю, *дословно помнивший* письмо Булгакова десятилетней давности!) увидел бы роман, воскресший из пепла: «Рукописи не горят»!

Прежде всего, этой репликой бесстрашный автор уверенно отождествлял Сталина — в его же собственных глазах — с Воландом, то есть — с Сатаной.

Так и хочется воскликнуть: письмо писать ему было страшно, а проделать такое в романе — нет!

...Так велика была, видимо, вера в то, что творчество его защищает...

Кроме того, адресату письма и романа навязывался высокий тон предполагаемого контакта. Инкорпорируя в текст романа цитаты из своих писем, Булгаков настаивал на отождествлении их автора — с героем романа: «первому читателю» предлагался ключ для понимания личности его настойчивого корреспондента (как *мастера*, безоглядно преданного творчеству).

В письме Булгакова 1931 года, адресованном уже лично Сталину, были такие слова:

«с неудержимой силой во мне загорелись новые творческие замыслы»; «писательское мое *мечтание* заключается в том, чтобы быть вызванным лично к Вам».

Вопрос Воланда: «А кто же будет писать? А *мечтание*, вдохновение?» и ответ Мастера: «У меня больше

нет никаких *мечтаний* и вдохновения тоже нет» содержат, на наш взгляд, отсылку к этому письму. Изображая себя покончившим с «мечтаниями» и вдохновением, автор, однако, самым наличием романа предъявлял *себя же самого, исполненного вдохновения...*

Еще более, может быть, проступает специфический, с тайной адресацией пласт этой сцены в «нехорошей квартире» у Воланда в переговорах Маргариты с Мастером.

При посредстве бытовой, несколько выпадающей из стилевой ткани романа реплики Маргариты — «Позвольте мне с ним пошептаться» — в текст инкорпорируется (как письмо, написанное особыми чернилами между строк книги) некое сообщение:

«...что-то пошептала ему. Слышно было, как он отвечал ей: — *Нет, поздно. Ничего больше не хочу в жизни. Кроме того, чтобы видеть тебя.*»

Содержание этого разговора внятно лишь тому, кто знаком с фактами биографии автора. Булгаков опять-таки надеялся, что прежде всего — адресату его нескольких писем.

В первом письме (1930 год) он просил «правительство СССР» не о поездке, а о высылке его за границу. Но в процессе телефонного разговора со Сталиным, заставшего его врасплох, на коварно сформулированный властителем вопрос: «...*Может быть, и правда отпустить вас за границу? Что — очень мы вам надоели?*» растерявшийся Булгаков ответил отказом от своей просьбы, о чем всю жизнь (нравится это кому-либо или нет) горько сожалел. Потом он несколько раз настой-

чиво просил — не об *отъезде*, а о *поездке* за границу, получая неизменные отказы.

Спустя почти десять лет, уже не в письме, не в телефонном разговоре, а в тексте романа, Булгаков *вторично отказывался от своей просьбы* — теперь уже не застигнутый врасплох внезапным звонком, а многократно все передумав и разуверившись в успехе каких бы то ни было писем и просьб.

В словах Мастера «Нет, поздно» заключалось сообщение — больше никуда не прошусь; опóздано.

Не отрицалась, однако, *соблазнительность* так и не осуществленных мечтаний...

Далее слово предоставлялось Воланду — и почтительно выслушаны были его слова, аккумулирующие все отрицательные ответы власти на настойчивые просьбы Булгакова о поездке за границу: «Это не самое соблазнительное». И подсказкой судьбе, ее заклинанием звучали следующие реплики Воланда, посылаемые сочинившим его автором не только неведомым будущим читателям, но и вполне конкретному одному нынешнему: «...ваш роман вам принесет еще сюрпризы... *Ничего страшного уже не будет*». Булгаков будто заклинал своего первого читателя не принести ему того страшного, что приносил в те годы столь многим...

Да, Сталин должен был, по замыслу автора, узнать себя в Воланде.

Но для не посвященного в отношения Булгакова и Сталина *читателя* романа это — нерелевантно. Припомним: ведь на загадочной картинке — той самой, на которой мы в детстве искали «где спрятался лев?», — в тот самый момент, когда лев неожиданно обнаруживался где-то в кроне дерева вверх лапами, ис-

чезала из поля нашего зрения сама рассматриваемая картинка — с пляжем, людьми, деревьями и прочим...

Так и обнаружение прототипов и других связей литературного произведения с внеположной реальностью *отслаивает* все эти конкретные адресации от художественной ткани. Это — разные плоскости, разные системы координат. Возможные точки их соприкосновения — совсем особая тема.

Еще раз обратимся к проекциям литературных персонажей на литераторов, узнаваемых современниками. Они вовсе не обязательно должны были нести в себе полемический заряд (подобный тому, каким начинен в «Селе Степанчикове» Достоевского Фома Опискин, в котором позднейшие комментаторы распознали Гоголя). Кроме полемики, существует *игровая* связь с узнаваемой современниками реальностью — та самая, что во многом угасает для будущих читателей за исключением эрудитов. Такова проекция Манилова на Жуковского и Собакевича — на Крылова, с осторожной убедительностью описанная Ф. Н. Двинятиным*. В одном из примечаний к этой тонкой работе (под которым можно бы и подписаться) автор пишет:

«Здесь и далее слово *прототип* нужно читать так, как если бы оно всегда стояло в кавычках. Еще раз: литераторы не *прототипы* персонажей, а в том числе *прототипы*, в каком-нибудь, по слову Ахматовой, *третьем, седьмом или двадцать девятом смысле*».

* Двинятин Ф. Н. Об одном возможном случае прототипического подтекста: персонажи Гоголя и литераторы // Текст и комментарий: Круглый стол к 75-летию Вячеслава Всеволодовича Иванова. М., 2006. С. 167—177.

12. БИОГРАФИЯ В ТВОРЧЕСТВЕ

...Всегда я рад заметить разность
Между Онегиным и мной,
Чтобы насмешливый читатель,
Или какой-нибудь издатель
Замысловатой клеветы,
Сличая здесь мои черты,
Не повторял потом безбожно,
Что намарал я свой портрет...
.....
Как будто нам уж невозможно
Писать поэмы о другом,
Как только о себе самом.

Как видим, с давних пор именно это приходит в голову неискнутому (либо «насмешливому») читателю. В первую очередь — подростку-школьнику. Кажется, что поэт, писатель пишут в первую очередь про себя самого.

Если же сказать — «Да нет — все придумано!» — то это, во-первых, как-то разочаровывает. А во-вторых, будет огрубляюще-неточно.

Именно в школьные годы следует показать юному читателю классических текстов, какими сложными, порою независимыми от автора путями проникает в творчество его биография.

Одно из наиболее глубоких утверждений о связи творчества с биографическими обстоятельствами принадлежит Б. В. Томашевскому:

«Лирика — вовсе не негодный материал для биографических разысканий. Это лишь — ненадежный материал.

<...> При всем том — творчество поэта все же дает поле для построения биографической гипотезы, которая иногда одна может удовлетворительно связать обрывочные и смутные факты...»*.

Известно, что до нас дошло *единственное* любовное письмо Пушкина — черновик (а затем — беловик другой редакции) письма от 2 февраля 1830 года Каролине Собаньской — той, которою он был страстно и, считается, безнадежно увлечен в начале 1820-х годов. Спустя годы они ненадолго встретились в Петербурге — и 5 января 1830 года он вписал по просьбе Каролины в ее альбом стихотворение:

Что в имени тебе моем?
Оно умрет, как шум печальный
Волны, плеснувшей в берег дальний,
Как звук ночной в лесу глухом.
.....
Но в день печали, в тишине,
Произнеси его, тоскуя;
Скажи: есть память обо мне,
Есть в мире сердце, где живу я.

Пушкин, десять месяцев назад посватавшийся к Наталье Гончаровой, пишет (подлинник по-французски):

«...Сегодня 9-я годовщина дня, когда я вас увидел в первый раз. Этот день был решающим в моей жизни. Чем бо-

* Томашевский Б. Пушкин: современные проблемы историко-литературного изучения. Л., 1925. С. 69, 70.

лее я об этом думаю, тем более убеждаюсь, что мое существование неразрывно связано с вашим; я рожден, чтоб любить вас и следовать за вами — всякая другая забота с моей стороны — заблуждение или безрассудство...».

Письмо не было отправлено — Собаньска прислала записку, что их встреча откладывается, и Пушкин пишет новое письмо:

«...Вы смеетесь над моим нетерпением, вам как будто доставляет удовольствие обманывать мои ожидания... Между тем я могу думать только о вас. ...А вы, между тем, по прежнему прекрасны, так же, как и в день переправы или же на крестинах, когда ваши пальцы коснулись моего лба».

Они расстались.

За Собаньской утвердилась слава интриганки и оболстительницы.

И теперь — несколько слов о том, как проникает в творчество — порою помимовольно! — биография автора.

Во время Болдинской осени, дописывая, среди прочего, «Евгения Онегина», Пушкин — уже счастливый жених — думает о своей прежней коварной возлюбленной Каролине Собаньской. Он как бы досказывает мысленно ей свои упреки и т. п. Анна Ахматова, полагая, что эти мысли поэт не собирался пропускать в текст своего романа в стихах, делает пронизательное наблюдение: «В одном лишь месте, по моему разумению, образовалась крошечная трещинка».

И поясняет, что обращенные Онегиным к Татьяне слова *«Какому злобному веселью, // Быть может,*

повод подаю» не очень-то к ней могут быть отнесены — они, «конечно» (по слову Ахматовой), из письма Пушкина Собаньской*. Да, «злое веселье» никак не вяжется у читателей «Евгения Онегина» с душевным обликом Татьяны. Но очень вязалось с личностью Собаньской — для тех, кто ее знал.

«Трещинки» в тексте, через которые проникает в него биография в «чистом» ее виде, — это и есть *искомые знаки биографии в творчестве*.

Одна из таких трещинок в 8-й главе — следующие строки:

То видит он врагов забвенных,
Клеветников и трусов злых,
И рой изменниц молодых,
И круг товарищей презренных...

Действительно — «Пушкин (не автор романа) целиком вселяется в Онегина, мечется с ним, тоскует, вспоминает прошлое», поскольку «никаких презренных товарищей у пустынного Онегина мы не знаем», ни в каком кругу «этот нелюдим как будто не вращался» (ну, пусть даже и вращался, прежде чем попал в деревню и вскоре «дома заперся», но не в этом дело) и «Пушкину для Онегина ничего не жалко — он даже отдает ему собственных “изменниц молодых”» (Ахматова напоминает стих — «И вы забыты мной, изменницы младые», 1820)**. Пушкин — уже счастливый жених, но «в творческом плане, очевидно, не так — то легко вый-

* Болдинская осень (8-я глава «Онегина») // Ахматова А. О Пушкине. Статьи и заметки. Л., 1977. С. 179.

** Там же. С. 185—186.

ти» из круга недавних переживаний, запечатленных в черновиках его писем того времени к Собаньской.

Беремся сформулировать некоторую закономерность: плотность *прототипического* помогает различить в этой толще *биографическое*.

Например: мы получаем бесспорно важное для биографов Пушкина представление о том, что поэт, видимо, *не знал* о функциях Собаньской в ведомстве Бенкендорфа, хотя и прозревал многослойность ее личности.

Из чего же мы выводим, что *не знал*? А вот именно из того, что убедительно показанное активное присутствие Собаньской (как прототипического материала) в пушкинском творчестве дает определенную уверенность вот в чем: если бы Пушкин знал (или внезапно узнал), что его бывшая возлюбленная — штатная осведомительница Бенкендорфа, — это так или иначе *проступило бы* в связанных с ней многих фрагментах творческих текстов.

13. СЛЕДЫ КРОВАВОЙ ЭПОХИ

И вновь вернемся к «Мастеру и Маргарите». Стимулом к кристаллизации давних размышлений об одном из центральных персонажей романа «Мастер и Маргарита» и его прототипах послужил для меня разговор с одной американской стажеркой. Она объяснила, что приехала работать над темой, звучавшей примерно как «Ведьма в русской литературе». Одна из главных точек ее интереса — Маргарита в романе Булгакова; вот почему ей важен разговор со мной.

— Но только, — пояснила она, — у меня свой поворот темы — меня интересуют *добрые ведьмы*.

— Видите ли, — пояснила я в свою очередь, — вы не путайте наш фольклор и народные верования с европейскими. Это в Европе, а вслед за ней и в Америке — *феи* бывают злые и добрые. У нас — *ведьма* это ведьма...

От кого бы ни *отталкивался* Булгаков на стадии первоначальных импульсов или в отдельных деталях — от Л. Е. Белозерской или красавицы Маргариты Смирновой (с ней меня познакомила ее дочь, и при встрече они вручили мне текст ее воспоминаний о Булгакове; они впервые введены в оборот и прокомментированы в «Жизнеописании Михаила Булгакова»), — но во второй половине 30-х годов, в разгар работы над последними редакциями романа, и сам автор, и Е. С. Булгакова связывали заглавную героиню «Мастера и Маргариты» уже только с нею самой. 4 ноября 1969 года, весь день рассказывая мне историю своих отношений с М. А. , Е. С. вспоминала среди прочего:

«...Однажды он сидел, писал “Мастера” и, оторвавшись от стола, сказал, улыбаясь: — Ну и памятник вздул я тебе!»

В размышлениях о прототипе Маргариты важнее этих, реальных или легендарных, реплик сама структура романа — начиная с заглавия: *Мастер и Маргарита*.

Мастер несомненно, с первых же проявлений изменившегося в 1931 году замысла, *спроецирован на автора* — со всеми главными перипетиями его литературной судьбы. Он — подчеркнутое alter ego автора. Тем самым — не правда ли? — читатель принужден так или иначе проецировать и возлюбленную Мастера *Маргариту* на биографическую спутницу автора.

В первые годы после публикации романа легенда о прототипе Маргариты интенсивно укреплялась — при содействии самой Е. С.

«В связи с этим романом многие друзья называли ее “Маргаритой” и когда она однажды была в Будапеште, то газеты писали “Маргарита посетила Будапешт”. Она рассказала нам также, что во время эвакуации в Ташкент встретила в 1943 году с поэтессой Анной Ахматовой. Та написала стихотворение, в котором Елена названа колдуньей. Она весьма гордилась этим обстоятельством, и не без оснований»*.

Е. С. рассказывала мне и другим своим посетителям, а также описывала в письме Н. А. Булгакову, как М. А.

* Послесловие племянника Е. С. — О. Нюрнберга к немецкому изданию ее дневника. Стихотворение Ахматовой, посвященное Елене Сергеевне, начинается строками «В этой горнице колдунья / До меня жила одна: / Тень ее еще видна...».

еще в 1929 году, в расцвете их романа, водил ее в дом близ Патриарших прудов. И там встретил их

«высокий красивый бородатый старик и его сын. Кормили ухой. Старик вернулся из Астрахани из ссылки, и друзья дали ему с собой рыбу. “Позвольте ручку поцеловать!”, “Ведьма!”, “Околдовала!”. — Вы гений!” — сказал вдруг Булгаков, обернувшись к нему»*.

Нас не интересует в данном случае верификация этого рассказа или этой легенды. Нам важно подчеркивание Еленой Сергеевной слова «ведьма» как важного для Булгакова и связывающего ее самоё (их отношения — план реальности) с Патриаршими прудами (место действия будущего романа — то есть план литературы).

Если лирика «дает поле для построения биографической гипотезы», как писал Томашевский, то проза дает, надо думать, больше возможностей для таких построений. Так, Т. Г. Цявловская восстанавливала детали отношений Пушкина с Е. К. Воронцовой, опираясь на «Арапа Петра Великого».

В этом смысле второй том «Мастера и Маргариты», где Маргарита выступает на передний план, дает повод для размышлений над биографией ее прототипа.

* Наша запись рассказа Е. С.; несколько иной вариант того же мемуарного свидетельства — в письме Е. С. к О. Нюрнбергу от 13 февраля 1961 года: «...Сидим до утра. Я сидела на ковре около камина, старик чего-то ошалел: “Можно поцеловать вас?” — “Можно, говорю, целуйте в щеку”. А он: “Ведьма! Ведьма! Приколдовала!” “Тут и я понял, — говорил потом Миша, вспоминая потом это вечер, вернее, ночь, — что ты ведьма! Присушила меня!”» (цит. по: *Лескис Г., Атарова К. Путеводитель по роману Михаила Булгакова «Мастер и Маргарита»*. М., 2007. С. 255).

Не имеет никакого смысла ломать голову над тем, почему один погиб в эпоху террора, а другой уцелел. Но ведь погибли, кажется, *все* решительно, кто сидел за столом у Шиловских (советские военачальники Тухачевский, Якир, Уборевич, Свечин и многие другие), — кроме хозяина. Все их жены оказались в лагере — или были расстреляны. Е. С. говорила мне, что Е. А. Шиловский поздно вступил в партию, потому что боялся, что его, как «бывшего» дворянина, заподозрят в карьеризме*; она предполагала, что, быть может, это его спасло — в середине 30-х брали, казалось, в основном партийных, с давним стажем...

* В разысканных нами в архиве ФСБ документах удалось обнаружить (в данном случае выражение, нередко используемое публикаторами неправомерно, употреблено нами как раз точно: обложка документа никак не указывала на то, что под ней может обнаружиться Шиловский) сведения о неизвестном прежде факте — аресте Е. А. Шиловского в сентябре 1919 г.: Е. С. Булгакова утверждала в наших беседах, что Шиловского никогда не арестовывали. Там — его заявление (после недели содержания под арестом) в Особый отдел ВЧК: «Я — искренний сторонник Советской власти, которую защищал с оружием в руках вплоть до последнего времени, что может свидетельствовать б<. > Народный комиссар по внешним делам Украины т. Подвойский, у которого я был Начальником Полевого Штаба, а также многие другие видные т. коммунисты»; Шиловский называет себя здесь «революционным воином». После заявления его освободили (Чудакова М. О. К биографии Е. А. Шиловского // Тыняновский сборник. Вып. 11. Девяты́е Тыняновские чтения. Исследования. Материалы. М., 2002. С. 509—510). Когда С. Нехамкин обратился ко мне с вопросами по биографии Е. А. Шиловского, я указала обе неизвестные ему мои работы в Тыняновских сборниках с условием сослаться на них; как и следовало ожидать, рассказывая об аресте, как и обо мне другом, известном только из моих опубликованных бесед с приятельским кругом Булгаковых, автор статьи «Рощин после “Хождения по мукам”» («Известия», 2 февр. 2003) не утруждает себя отсылкой к источникам.

Но есть вещи необъяснимые и в контексте того времени.

Например, совершенно исключительное положение Булгакова в отношении постоянных «контактов с иностранцами», говоря на советском языке.

О домашних встречах Булгаковых с ними кто-то должен был давать на Лубянку *постоянные* сведения — а не эпизодические, как Б. Штейгер, Э. Жуховицкий, К. Добраницкий*, Григорий Конский или Ангелина Степанова (в печальной роли обоих актеров МХАТа Булгаковы были совершенно уверены — это видно в дневнике Е. С. и известно из моих бесед с современниками).

Еще важнее, что и эти люди далеко не всегда, при всей их настойчивости**, становились свидетелями частных встреч Булгакова и его жены с сотрудниками посольств: несколько раз такие встречи — в доме писателя или на посольских дачах — проходили, похоже, *без видимых свидетелей*. Но по тогдашнему стандарту своей работы «органы» просто не могли допустить, чтобы

* Биографии и печальную роль двух последних нам удалось выяснить по их следственных делам, закончившимся расстрелами (см.: Чудакова М. О. Осведомители в доме М. А. Булгакова в середине 30-х годов // Седьмые Тыняновские чтения: Материалы для обсуждения. Вып. 9. Рига—Москва, 1995—1996).

** «Обедали у Боолена. <...> Конечно, Жуховицкий. Потом пришли и др<угие> американцы из посольства, приятные люди, просто себя держат. <...> Мы с Мишей оба удивились, когда появилась Лина Степанова. На прощанье Миша пригласил американцев к себе. Лина С. сказала: “Я тоже хочу напроситься к вам в гости”» (запись в дневнике Е. С. от 19 апреля 1935 года; в переписанной ею в конце 50-х годов версии, которая с 1990 года неправоммерно предлагается публикаторами, Л. Яновской и В. Лосевым, в качестве реального дневника, запись переименована).

о какой-либо встрече советских людей с иностранцами они не имели информации...

Сложная история семьи Е. С. Булгаковой — ее отца и братьев, ее собственная биография с яркими авантурными чертами* заставляют вспомнить женщин ее поколения с несколькими жизненными ролями — тех, что оставили свой нестираемый след в истории России XX века — Лилю Брик или М. И. Будберг

(«Она несомненно была одной из исключительных женщин своего времени, оказавшегося беспощадным и безжалостным и к ней, и к ее поколению вообще. Это поколение людей, родившихся между 1890-м и 1900-ми годами, было почти полностью уничтожено войной, революцией, эмиграцией, лагерями и террором 30-х годов**»).

При изучении биографических фактов стало ясно главное: сколь многое Е. С. долго и успешно скрывала — до Булгакова, в годы жизни с ним и после его смерти. Два ее брата (заметим — евреи по отцу) жили в фашистской Германии; о младшем, во время предвоенной советской оккупации Латвии отправленном в лагерь либо расстрелянном, она вообще никогда не обмолвливалась ни единым словом.

Можно предполагать, что о каких-то важнейших, сложившихся до встречи с Булгаковым обстоятельствах жизни красивой и завораживающе обаятельной

* Шор Т. К. Материалы к истории семьи Нюренбергов в Историческом архиве Эстонии; Чудакова М. О. Материалы к биографии Е. С. Булгаковой // Тыняновский сборник. Вып. 10. Шестые — Седьмые — Восьмые Тыняновские чтения. М., 1998. С. 599—606, 607—643).

** Берберова Н. Железная женщина. М., 1991. С. 19.

жены крупного военспеца сам он узнал либо случайно, либо от нее самой. — лишь тогда, когда они уже соединили свои судьбы.

Им владело несомненно страстное и глубокое чувство к ней. Кроме прочего, он нашел в Елене Шиловской то, чего давно искал, — сильную женщину, к тому же исполненную витальности. Обратившись еще раз к сопоставлению с несколькими ее колоритными сверстницами, найдем такое описание впечатления от М. Закревской (Будберг), сложившегося зимой 1918 года у молодого британского агента Р. Б. Локкарта:

«Ее жизнеспособность, быть может, связанная с ее железным здоровьем, была невероятна и заражала всех, с кем она общалась. Ее жизнь, ее мир были там, где были люди, ей дорогие, и ее жизненная философия сделала ее хозяйкой своей собственной судьбы. Она была аристократкой. Она могла бы быть и коммунисткой. Она никогда бы не могла быть мещанкой»^{*}.

Несмотря на неясности перевода (какое значение русского слова «мещанка» имелось в виду?), мои личные впечатления от довольно тесного почти ежедневного (и всегда многочасового) полуторамесячного общения с Е. С. в 1969 году очень близки к этому описанию (разве что с поправкой на то, что, не обладавшая крепким физическим здоровьем, она ухитрялась всегда быть «в форме», проявляя чудеса выносливости и, конечно, «железной», в духе М. Будберг, выдержки и самоконтроля).

* Берберова Н. Указ. соч. С. 38.

Молодость этих женщин пришлась на эпоху, когда человека с непомерной силой испытывали на прочность, резко отодвигая при этом с авансены жизни ценности, привитые в детстве. Нити добра и зла спутывались. Складывались новые для бывших российских подданных, совсем особые отношения с властью. Чекисты были важнейшей частью этой власти. От них зависела и сама жизнь — своя и, что еще важнее, близких, — и то благополучие, которое для этих молодых, красивых, жизнелюбивых женщин было неотрывной частью самой жизни. И Е. С., и М. Будберг оказывались еще в начале 20-х годов под арестом — и можно не сомневаться в том, как именно запах тюрьмы подействовал на них; можно представить себе, что они дали себе слово больше там не оказаться... Эти женщины считали себя достаточно сильными, чтоб вступить в игру, где ставки были очень высокие.

Насквозь проникнутая тайной слежкой и осведомительством атмосфера советских 30-х годов, как и двоящееся, граничащее с восхищением отношение персонажей и повествователя в прозе Булгакова к работе тех, для какого сыск — основная профессия, а также готовность наблюдать вблизи себя заведомых осведомителей — все это достаточно подробно рассмотрено нами в уже упомянутой работе*.

Не жившим в атмосфере 1920—1930-х годов трудно, почти невозможно понять жизнеповедение тех, кто воспринимали эту атмосферу как неотменимое условие существования. Отсюда в сегодняшних суждениях о Булгакове столько прямолинейной оценочности, соседствующей

* Чудакова М. О. Материалы к биографии Е. С. Булгаковой.

с непониманием сложнейшего переплетения его романа с глубинными пластами биографии. Один из читателей моей работы «Материалы к биографии Е. С. Булгаковой» написал мне в свое время о довольно «мрачных» впечатлениях от моих осторожных предположений о сложной и, несомненно, исполненной драматизма роли, которую, по-видимому, пришлось играть жене Булгакова, поскольку, сурово пенял он мне, в таком случае «М. А. об этом не мог не знать и не участвовать в этой “игре”».

Такие разговоры поистине не о том — что называется, «в пользу бедных», поскольку на деле все было, несомненно, гораздо страшнее, чем мы беремся сегодня описывать.

Эти люди — М. А. Булгаков и его жена — не нуждаются в нашей защите. Им довольно будет нашего понимания. Важно хотя бы попытаться приблизиться к той реальности, где человека подстерегала всякий час не просто смерть, а гибель под пытками — так погибла, насмерть забитая в следственных камерах, отказавшаяся стать осведомительницей ленинградская красавица Елизавета Исаевна Долуханова, мать двух маленьких детей, жена приятеля Булгаковых художника В. В. Дмитриева. Реальности, в которой лучшие душевные качества человека, сила и богатство личности соседствуют с сомнительными поступками... И все вместе может неожиданно возникнуть перед взором любящего человека как исполненная драматизма непреложность, настойчиво стучавшаяся в его главный роман...

* Е. С., например, деятельно и самоотверженно помогала детям расстрелянных сотоварищей своего бывшего мужа; немало добрых поступков на счету и у двух других упомянутых нами женщин.

«Игра» была в любом случае многосоставной, взаимоотноотражающих зеркал в их доме было немало*.

Нас же сейчас интересует исключительно авторское отношение к Маргарите — при семейной подчеркнутости ее прототипа. То есть — самые драматические пересечения биографии с творчеством.

...Есть таинственные, до сих пор не разгаданные пушкинские строки:

Другие два чудесные творенья
Влекли меня волшебною красой:
То были двух бесов изображенья.

В стихотворении «В начале жизни...» они явно противопоставлены той, которая названа «величавой женой», чьи «полные святыни словеса» не удерживают отрока-автора подле нее. Именно в саду (лицейском?), среди изваяний

Все наводило сладкий некий страх
Мне на сердце; и слезы вдохновенья,
При виде их, рождались на глазах.

* Е. С. записывает (3 мая 1935 г.) в дневник, как заходивший накануне Жуховицкий «очень плохо отзывался о Штейгере, сказал, что ни за что не хотел бы встретиться с ним у нас.

Его даже скорчило при этом». Здесь — «разгаданная Булгаковым и его женой боязнь профессионального осведомителя самому оказаться объектом осведомления, <...> а также, возможно, и нежелание увидеть собственное отражение. Наблюдение за этим соперничеством за роль соглядатая в его собственном доме было для Булгакова, несомненно, частью игры <...>» (Осведомители в доме М. А. Булгакова... С. 408).

В наиболее близком нам истолковании, которое дает всему стихотворению С. Г. Бочаров, отмечено, что сначала в рукописи было: «...двух богов изображения». «Бесы» же, по его мнению,

«действительно сильное и ударное слово в тексте, но Пушкин свой голос с ним не сливает. “Бесы” здесь названы как христианский псевдоним античных богов, и Пушкин эту ортодоксальную точку зрения, можно сказать, цитирует. Этим сильным словом два кумира здесь припечатаны, но ведь никак не исчерпаны <...> собственное их эллинское качество сияет из-под этой печати»* (курсив наш).

Вот так и красота, обаяние, женственность, страстность Маргариты *сияют* из-под припечатавшего ее слова — «ведьма»**.

Маргарита в романе стала, в сущности, частью того мира, где правит князь *тьмы* (одно из ранних названий романа). Она — в другом измерении, чем Иешуа, едва ли не на другом полюсе. Но и там не менее (если не более), чем на полюсе противоположном, находит художник то, что вызывает те самые *слезы вдохновенья*.

Сегодня можно встретить в публичных лекциях глубокомысленное отрицание самой возможности любви Маргариты к Мастеру — поскольку ведьмы, по мнению

* Бочаров С. Г. Филологические сюжеты. М., 2007. С. 18.

** Более всего напоминая, может быть, некоторые штрихи описания Анны Карениной: «Анна шла, опустив голову и играя кистями башлыка. Лицо ее блестело ярким блеском; но блеск этот был не веселый, — он напоминал страшный блеск пожара среди темной ночи» («Анна Каренина», т. 1, ч. 2, начало главы IX).

лекторов, не способны к таким чувствам... Тут плоско (а главное — невероятно далеко от литературы) морализирующие авторы* близко подходят к тому, что С. Бочаров удачно назвал «нынешним благочестивым пушкиноведением». В обоих случаях морализаторы судят невпопад.

Оперу Гуно юный Булгаков слушал в Киеве без счета; рисунок — Шаляпин в гриме Мефистофеля — висел в доме на Большой Садовой над его столом. Смысл фигуры Воланда и слов его двойника — персонажа «Фауста» Мефистофеля («— Я — часть той силы, что вечно хочет зла и вечно совершает благо»), взятых в качестве эпиграфа ко всему роману (то есть авторизованных!), — в том, на наш взгляд, что Булгаков понял и прочувствовал: дьявол уже среди нас, сатана уже там (то есть здесь) «правит бал». Весь новый отсчет пошел от этого. И в новосозданном мире «благо» можно получить лишь из рук того, кто «вечно хочет зла».

Именно в этом мире с совсем новыми его координатами выносятся и оценка действий Маргариты. Тем самым — и ее прототипа. И оценка эта не может вычерчиваться по лекалам мира «нормального».

В том мире, где правит бал сатана, автор не считает возможным объявить свою героиню виновной — за ее прямую связь с нечистой силой. Она стала ведьмой, спасая возлюбленного: таково найденное автором объяснение (и оправдание) неизвестных нам, но, несомненно, глубоко драматических коллизий жизни ее прототипа.

* Диакон Андрей Кураев. «Мастер и Маргарита»: за Христа или против? М., 2004. Подробней об этом — в нашей работе «О поэтике Михаила Булгакова» (Чудакова М. Новые работы... С. 452—453).

14. ВОСПИТЫВАЕТ ИЛИ ПРОБУЖДАЕТ?

А кто же, собственно, будет служить оператором, извлекающим из сочинений классиков тот нравственный потенциал и те эстетические представления, ради которых, собственно, и весь сыр-бор?..

Взять на себя эту функцию удастся (и давно удастся) какой-то части учителей — тем, у кого у самих есть в наличии и этот потенциал, и такие представления (я у одной из таких словесниц училась — вечная моя благодарность и вечная память Нелли Львовне! — в плохое время, в хорошей школе).

...Конечно, кто же, как не учитель, прочитав вслух вместе с классом «Станционного зрителя», откроет глаза подросткам на немеркнущий смысл этого сочинения?

Сегодняшние школьники терпеть не могут, чтобы их *учили*, то есть *поучали*. Чтобы их *воспитывали*. Пушкин никого не учил. А вот воспитывает он нас или нет?..

История бедного Самсона Вырина именно в отрочестве должна войти в сознание — и как мастерски выписанное повествование, и как моральный урок — вплоть до щемящего финала, где мальчик показывает приезжему «грудку песку, в которую врыт был черный крест с медным образом», и рассказывает, как приходила сюда барыня: «*Она легла здесь и лежала долго*».

Непревзойденная пушкинская краткость.

Говорят и пишут об этой небольшой повести вот уже около двух веков, и в каждое время проступают новые оттенки ее смыслов. Сегодня я лично выделила бы такие: вы имеете право устраивать жизнь как вам нра-

вится, выбирать по вкусу друзей, возлюбленных, места для жизни, платья и украшения. Но чтобы быть полноценным человеком, должно помнить о тех, кто слабее, кто одинок, кому больно. Нельзя не задумываться о той боли, которую можем причинить мы — молодые, сильные, идя вперед и вверх; не задумываться над тем, не были ли мы глухи к страданиям того, кто рядом? Для кого в нас именно — смысл и возможная (и, может, из-за нас утерянная) хотя бы скудная радость жизни?

Повесть Пушкина дотягивается до наших дней в первую голову мыслью о родителях, да и о дедушках-бабушках.

О тех, которых во все времена многие молодые плохо понимают и, главное, не стараются понять, привычно считая «стариков», «предков» и т. п. отставшими от современных запросов и скучными. Первый поэт, знавший толк в земных удовольствиях, показывает нам (во всяком случае, тем, кто способен видеть что-то дальше своего носа), что выше всего — человечность и сострадание. Что так называемый маленький человек (с этих повестей и вошел он в русскую литературу — и жил в ней вплоть до советского времени) не менее ценен в моральном смысле, чем большой — сильный, талантливый или богатый.

Он дает нам понять: трудно примирить, согласовать интересы и устремления разных людей — в том числе разных по возрасту, образованию, по доходам и возможностям. Но думать о том, как это сделать, стремиться к этому — необходимо. Всегда, во все времена.

И уж во всяком случае — учиться с отроческих лет понимать *другого*, его чувства — как бы ни были мы погружены в собственные эмоции и заботы. И как бы

ни вбили себе в голову в один отнюдь не прекрасный день сомнительный афоризм, не раз мною слышанный: «Я никому ничего не должен!» (Иногда добавляется: «Был должен — и уже расплатился».)

Необходимость видеть вокруг себя кого-то еще, необходимость и уметь сочувствовать — качество, без которого не обойтись в становлении личности. Если только не решили обойтись без самого становления.

Так *учит* все-таки Пушкин — или это что-то другое? Он сам нам об этом сказал.

И каждый москвич, равно как и приезжий, может прочитать эти слова на его памятнике:

И долго буду тем любезен я народу,
Что чувства добрые я лирой пробуждал...

Не прививал, не воспитывал — *пробуждал*.

Знал, что эти чувства дремлют едва ли не в каждом, — только надо пробудить.

(И как не вспомнить еще раз Михаила Булгакова: всю жизнь боготворивший Пушкина, он идет за ним, формируя своего Иешуа, — тот, как многие помнят, верил, что всякий человек *по природе своей* добр.)

Но как *пробудишь* «чувства добрые», не читая самого Пушкина, а лишь рассказывая о том, что именно он хотел сказать?.. Нет, ничего не выйдет. Ничем не заменить установление *непосредственного контакта школьника с великими текстами*.

Наших великих писателей надо в школе читать. Многосложное устройство литературы таково, что тогда она каким-то образом сама заряжает потенциалом и формирует этическую базу и эстетическую компетенцию.

Правда, только в детстве и отрочестве.
Ну, еще в юности — очень недолго.
А дальше уж — по Твардовскому:

Как в тридцать лет
Рассудка нет, —
Не будет, та́к ходи.

15. ТАЙНЫ ГОГОЛЯ

Справедливости ради скажем, что, например, глава о Гоголе в том учебнике литературы для 9 класса, который мы цитировали, — заметно лучше других. В ней нет, во всяком случае, корябщих строк. Очевидно добросовестное стремление описать глубокую драму последнего десятилетия жизни Гоголя — драму, переросшую в трагедию и увлекшую Гоголя в могилу. Здесь есть серьезный материал для размышления девятиклассника. Только надо бы как-то дать ему понять, что Гоголь, даже и после всех рассуждений авторов учебника на эту тему, все-таки остается самым загадочным русским писателем и что тайну того, чем же было заполнено его последнее десятилетие, он унес с собой.

Поэтому не посоветовала бы каскад вопросов школьникам в конце главы завершать таким, на который сами исследователи Гоголя ищут ответ уже не одно столетие:

«Почему Гоголь не сумел завершить “Мертвые души”?
Дайте развернутый ответ-рассуждение».

Зато вполне уместный вопрос: «Есть ли противоречие в сочетании “мертвые души”? Какие значения скрывает это сочетание?» — в главе достаточно материала на эту тему.

Вряд ли можно ждать от четырнадцатилетних самостоятельного ответа на такое задание:

«Подготовьте развернутый ответ на один из вопросов: что мы называем художественным временем и художественным пространством в произведениях? Как помога-

ет ирония, сарказм, сатира в создании характеров поэмы “Мертвые души”?».

Это вопросы для студентов филфака, да еще не первого курса. В школе же такие задания никак не помогут лучше понять и почувствовать Гоголя — результатом будет лишь то, что школьники бросятся к интернету.

И слишком умозрителен, на мой взгляд, вопрос «Какова роль гротеска в “Мертвых душах”?». Положа руку на сердце — все ли из нас могут на него внятно ответить?..

Помимо философствования над «Мертвыми душами» и тайной последнего десятилетия жизни Гоголя (повторю — удачные, хотя и слишком многословные страницы учебника) неплохо бы попытаться дать более живое представление о единственном в своем роде таланте Гоголя. Предложить, например, поразмышлять над удивлением и восторгом Белинского — он был особенно поражен повестями, резко отличными и от жуткой фантастики «Вия», и от героики «Тараса Бульбы»:

«Возьмите его “Старосветских помещиков” — что в них? Две пародии на человечество в продолжение нескольких десятков лет пьют и едят, едят и пьют, а потом, как водится исстари, умирают. Но отчего же это очарование? ...О, г. Гоголь истинный чародей, и вы не можете представить, как я сердит на него за то, что он и меня чуть не заставил плакать о них, которые только ели, пили и потом умерли!»

То же — и о повести «Как поссорился Иван Иванович с Иваном Никифоровичем»:

«В самом деле, заставить нас принять живейшее участие в ссоре Ивана Ивановича с Иваном Никифоровичем, насмешить нас до слез глупостями, ничтожеством и юродством этих живых пасквилей на человечество — это удивительно; но заставить нас потом пожалеть об этих идиотах, пожалеть от всей души, заставить нас расстаться с ними с каким-то глубоко грустным чувством».

После чтения повести вслух каждый вполне сможет попытаться найти свой ответ на вопрос — в чем же тайна обаяния этой повести, посвященной, в сущности, бессмыслице — ссоре на всю жизнь добрых соседей только из-за того, что один сказал другому, что тот сердится как *гусак*? Почему едва ли не всякий русский читатель вот уже третье столетие в выпавшую свободную минуту берется ее прочитать? А кто-то, глядишь, и перечитает.

Почему просто необходимо прочитать ее в классе вслух? Потому прежде всего, что станет очевидным для каждого носителя родного языка это потрясающее гоголевское владение безграничными возможностями русской речи. Какая-то поразительная словесная вязь опутывает нас при чтении и берет в плен. Мы, как заколдованные, вчитываемся в исполненные пленительной абсурдности и внутреннего комизма строки:

«...Эта выдумка так нелепа и вместе гнусна и неприлична, что даже не почитаю нужным опровергать ее пред просвещенными читателями, которым, без всякого сомнения, известно, что у одних только ведьм, и то у весьма немногих, есть назади хвост...».

Но есть еще что-то, чем привлекают нас и «Старо-светские помещики», и повесть о двух Иванах. Может быть, то самое, что мы чувствуем, читая роман Гончарова «Обломов»... (Не каждый ведь признается даже себе, что в глубине души он чувствует себя немножко Обломовым). Жара в Миргороде, от которой почти что и нет спасения, описана в повести со знанием дела — как и средства спасения, которые ищут гоголевские герои.

«Иван Иванович только после обеда лежит в одной рубашке под навесом; ввечеру же надевает бекешу (зимнюю одежду! — М. Ч.) и идет куда-нибудь...», «Иван Никифорович лежит весь день на крыльце, — если не слишком жаркий день, то обыкновенно выставив спину на солнце, и никуда не хочет идти»; «Иван Никифорович чрезвычайно любит купаться и, когда сядет по горло в воду, велит поставить также в воду стол и самовар, и очень любит пить чай в такой прохладе».

Кто ж не позавидует — хотя бы в душе?.. И сами герои явно довольны такой жизнью — и мы, читая, так или иначе радуемся за них (как не вспомнить глубокую народную поговорку: «Кто малым не доволен — тот большого недостоин»?). Испытываем, как сказали бы сегодня, позитивные эмоции — пока сами герои не разрушают эту идиллию своей абсурдной ссорой.

За год до напечатания Гоголь читал свою повесть вслух Пушкину. Читал же он необыкновенно артистично. Современники вспоминают:

«Когда Гоголь читал или рассказывал, он вызывал в слушателях неудержимый смех, в буквальном смысле слова

смешил их до упаду. Слушатели задыхались, корчились, ползали на четвереньках в припадке истерического хохота».

И Пушкин записал в дневнике:

«Вчера Гоголь читал мне сказку...» (так определил он эту повесть) — «очень оригинально и очень смешно».

А первый рецензент повести написал в известном московском журнале:

«Я уверен, что Иван Иванович и Иван Никифорович существовали. Так они живо написаны. Но общество наше не может поверить в их существование».

Решусь дать напоследок еще один совет относительно того, как приблизить юных читателей к сложной, необычной личности Гоголя, показать им самый склад этой личности, проявлявшийся в его ранние годы, когда обнаруживались вдруг и поразительное знание людей, и замечательный актерский талант Гоголя.

Ехал он как-то с друзьями в город Торжок, вспоминал один из этих друзей, и все обещал накормить их знаменитыми котлетами. Приехали поздно ночью, заказали на всех котлеты, они были и правда необыкновенно вкусны, но... во всех оказались

«длинные белокурые волосы... Шутки Гоголя придали столько комического этому приключению, что несколько минут мы только хохотали как безумные».

Они послали за половым (служащим гостиницы и кухни) — для объяснений.

«...А Гоголь предупредил нас, какой ответ мы получим от полового: “Волосы-с? Какие же тут волосы-с? Откуда прийти волосам-с? Это так-с, ничего-с! Курины перушки или пух”, и проч., и проч. В самую эту минуту вошел половой и на предложенный нами вопрос отвечал точно то же, что говорил Гоголь, даже теми же словами. Хохот до того овладел нами, что половой и наш человек (то есть слуга, который с ними путешествовал. — М. Ч.) посмотрели на нас, выпуча глаза от удивления».

Разве не помогает этот забавный эпизод живо почувствовать свойства гоголевского таланта?

16. НИКТО И НИКОГДА ИЛИ ВСЕ-ТАКИ КОЕ-КТО ИНОГДА?

Не подумайте только, что я присоединяюсь к одному из излюбленных сегодняшних обобщений: дети и подростки *ничего не читают!*

Никто, ничего, никогда, так же, как *все, всё* или *всегда* — эти слова появляются в нашей речи (мы еще вернемся к ним, говоря о языке) исключительно от умственной лени, от потачки себе.

Они разом избавляют от утомительных наблюдений, раздражающих размышлений... Ну и, соответственно, от усилий по проверке своих предположений. А также — от действий, направленных на исправление того, что нуждается в исправлении.

Сложность, интересность и драматичность жизни внутри нашей страны в немалой степени в том, что она — очень, очень большая, как бы не сетовали о ее урезании после падения СССР. Несмотря на отвратительные демографические прогнозы, сегодняшние 140 миллионов — число внушительное. Поэтому и тех, кто *не читает*, полно — и тех, кто *читает*, немало. Те пять-шесть человек в классе, которые сегодня Пушкина все-таки читают, в абсолютном выражении (умножаем на количество трех хотя бы старших классов во ВСЕХ российских школах) — весьма и весьма внушительная цифра.

Вот уж шесть лет — с 2006 года — я провожу по всей России среди школьников и студентов блиц-викторину по русскому языку (о нем, как уже говорилось, речь пойдет дальше), русской литературе и русской истории XIX—XX веков (история — вообще дело отдельное; для ее целей уже несколько лет пишу «Историю России XX века для всех»).

Сначала, честно говоря, считала, что надо составлять разные вопросники для средних классов, для 9—11-го и для студентов. Практика показала — не надо. (Думаю, учителям мои на практике основанные выводы небезынтересны.) Потому что на большинство вопросов в группах любого возраста поднималось одинаковое количество рук... То есть: уж если читал, например, «Сказки» Пушкина — то уже в начальной школе читал, и даже в детском саду.

Наихудшие результаты относительно знания Пушкина показала Москва. Наилучшие — Гатчина, школа недалеко от усыпальницы Ганнибалов.

Три года назад: 19 девиц педагогического колледжа (с очень хорошей, как мне пояснили организаторы встречи, репутацией) сидели передо мной в одной из библиотек в центре столицы. На мой коронный вопрос: «Как звали Капитанскую дочку?» не поднялось ни одной руки.

...Больше всего меня поразило, что при этом на лицах — ни малейшего следа смущения, смятения, замешательства. Равно как и работы мысли, напряжения памяти. Ничего — кроме, я бы сказала, туповатого спокойствия.

Колледж этот — после 8-го класса. Через два года девицы станут преподавать в начальной школе...

И в той же Москве на одном из многочисленных ныне книжных фестивалей крохотная девочка Варя («Я еще не учусь. В детский сад хожу!») сходу перечислила, тараша круглые глазки, *все* сказки Пушкина (тут и прослезиться можно). А пятиклассница — когда я попросила процитировать хоть две пушкинские строки — шпарила наилучшую не законченную Пушкиным «Сказку о медведице», знание которой вменяю только студентам-филологам...

Ее сосед, шестиклассник Максимов, вообще руку не опускал, готовый ответить на все решительно вопросы. Забрал кучу премиальных книг и гордо ушел.

Продолжу выкладывать географические данные. Поздней осенью 2006 года в школе села Новопетровское в 30 километрах западнее Благовещенска на вопрос «А как звали *Капитанскую дочку*?..» — руки подняли сразу несколько старшеклассников.

А в прошлую осень в Солох-ауле недалеко от Туапсе крутолобый, с хитрыми глазками второклассник Никита (очень маленькая сельская детская библиотека смогла вместить только начальные классы) на мой заключительный вопрос «А вдруг кто знает каких-нибудь “взрослых” русских поэтов начала XX века? Вдруг?..» — сказал не задумавшись ни на миг:

— Саша Черный! И еще — Есенин!

Молча зарыдала (словесники меня поймут).

...Так в позапрошлом лето малец восьми лет из сгоревшей деревни Выксунского района (мы им привезли детские книги в каждую семью — не все поняли, что ведь сгорела не только одежда, но и *все* книги; а семей с единственным ребенком там не оказалось *ни одной*: трое-четверо детей в семье; такая демография) на мой вопрос тут же и назвал имя-отчество-фамилию Капитанской дочки.

А когда я растроганно спросила:

— Так ты уже читал?.. —

получила смущенный ответ:

— Нет — мне старшая сестра пересказывала.

С тех пор повторяю, не в силах сдержать пафоса:

— *Пока в России старшие сестры пересказывают «Капитанскую дочку»...*

В селах Выксунского района в тот год (два года назад) интернет был примерно у двух процентов населения. В районном городе Выкса — примерно у 50%. Такое соотношение называли мне повсеместно — от Владивостока до западных наших границ. Интернетизация идет быстро, сейчас наверняка цифры уже иные. Так или иначе, но наблюдения таковы: чем меньше интернета — тем больше читают, и даже пересказывают прочитанное... Увы. Хоть и не хочется прослыть ретроградом.

Мое объяснение молчания девиц из прославленного колледжа: в Москве *слишком много соблазнов* для юных неокрепших душ. Потому у девиц руки до Пушкина не доходят.

А почему же пятилетняя-то москвичка, и пятиклассница, и шестиклассник-москвич явно Пушкина знали?

Мой ответ — семья.

Стараются не дать захлебнуться соблазнами. Мама и папа сами читают. Может быть, даже и вслух (незаменимо для приохочивания к книге). И до соблазнов успевают кое-что прочитать.

17. ТАК ЛИ УЖ ПЛОХ БОРИС ДИКОЙ?

Я ничего не сказала о пьесах — Гоголя, Островского...

Могу поделиться недавним своим неожиданным открытием — книжка писательницы и театроведа Татьяны Москвиной «В спорах о России: А. Н. Островский» читается с увлечением буквально на любой странице.

...Ведь одно название хрестоматийной пьесы «Гроза» еще до чтения уже демонстрирует определенную реакцию учащихся — нечто вроде судороги. Передается, что ли, память поколений о вызывающем оскомину *луче света в темном царстве?*

А статья о «Грозе» в сборнике Москвиной прямо напрашивается на школьное чтение с последующими докладами и обсуждением ее содержания.

«Немало написано об истории грешной любви Катерины, о ее раскаянии и самоубийстве. Забавно сказал один из современников Островского: в рассуждениях о нравственности Катерины выясняется прежде всего нравственность самого пишущего.

Суждения тут самые пестрые. Кто признает Катерину святой, кто — все-таки грешницей, кто — революционеркой, кто — пионеркой эмансипации, а Д. Писарев — “мечтательницей и визионеркой”, никак не могущей способствовать человеческому прогрессу»*.

Я — за то, чтобы и вывалить все эти суждения перед учащимися: пусть разбираются, думают. И не выно-

* Москвина Т. В спорах о России: А. Н. Островский. Статьи, исследования. СПб., 2010. С. 84.

ситель последнего вердикта: новое время позволяет каждому остаться при своем.

Для меня обнаружилось нечто свежее в интерпретации Бориса. Помимо прочего она дает возможность вместо рассуждений о том, кто кого и как *обличает*, поговорить о более интересном для подростков — кто кого *любил*. Им тут всегда есть что сказать!

«Изрядно написано о любви Катерины к Борису. Между тем история любви в «Грозе» — это история любви Катерины и Бориса, история взаимной любви, что есть великая редкость в русской литературе.

Борис Григорьевич Дикой (очевидно, что фамилия Бориса именно такова, ведь его отец — брат Савела Дикого, Григорий) — истинный мученик и по пьесе, и по ее истолкованиям в критике, и в сценических интерпретациях. Всякий норовит его обидеть, сказать словцо поунизительнее. <...> “Нет оправдания любви к этому Борису” (П. И. Мельников-Печерский). В полном презрении к Борису сошлись два главных критика Островского — Ап. Григорьев и Н. А. Добролюбов, обычно столь несхожие в своих мнениях. “Главный ее (пьесы. — Т. М.) недостаток — это безличность Бориса. <...> Во что тут было влюбиться?” (Ап. Григорьев). Рассудительный Добролюбов подводит окончательный и плачевный итог: “Борис — не герой, он далеко не стоит Катерины, она и полюбила его больше на безлюдье... <...> О Борисе нечего и распространяться; он, собственно, должен быть отнесен тоже к той обстановке, в которую попадает героиня пьесы. <...> Будь это другой человек и в другом положении — тогда бы и в воду бросаться не надо”.

Критики будто, право слово, ревнуют прекрасную Катерину к Борису. Так и повелось с тех пор — “о Борисе нечего распространяться”. “Любовь к Борису, честному, добропорядочному, но неспособному ответить этой силе и яркости чувств, — путь к ее гибели”, — пишет В. Я. Лакшин».

И Москвина вступается за Бориса — безуспешно.

«Между тем Борис не безличен. <...> Кулигин говорит о нем: “Хороший он человек” — и, по всему судя, это так и есть. Дикого Борис терпит из-за сестры (“сестру жаль”), влюбляется в Катерину с первого взгляда, завидев ее “ангельскую улыбку” и свет лица, расстаётся с ней “рыдая”, как указано в ремарке. Ни в одной пьесе Островского мы не найдем мужчину, который расстаётся с женщиной, рыдая.

И вообще-то на земле таких, наверное, не много будет. Конечно, рыдания не свидетельствуют о силе характера, но уж о силе чувства и ранимости сердца говорят точно»*.

У меня нет сомнений в том, что подростки увлеченно будут спорить о том, кто же прав насчет Бориса. А в ходе спора можно им сообщить и еще кое-что важное о пьесе. И еще предложить прочитать некоторые статьи из интереснейшего «Словаря к пьесам А. Н. Островского». Созданный в послевоенные годы тремя авторами (известнейшим «словарником» С. И. Ожеговым, автором «Крылатых слов» и много другого Н. С. Ашукиным и театроведом В. А. Филипповым), он так и не вышел —

* Там же. С. 85—87.

«в силу запрета со стороны вышестоящих правительственных органов», как сообщило им издательство письмом, воспроизведенным в виде иллюстрации уже в 1993 году, в репринтном издании с подготовленной в свое время к печати рукописи. Выпущен Словарь тиражом 25 тысяч экземпляров (так что, думаю, можно его еще найти — например, в Малом театре, где я купила).

Прочитайте на уроке хотя бы статью «Трактир», где описано, что в жизни старой купеческой Москвы он «занимал значительное место, играя роль своего рода биржи, клуба...». Половые в трактире —

«Это были старые и молодые люди, но решительно все степенного вида, покойные и учтивые и в своем роде очень элегантные; чистота их одеяний — белых рубашек — была образцовая. И вот они умели предупреждать и быстро прекращать скандалы... Частые посетители величались половыми по имени и отчеству и состояли с ними в дружбе».

Рукобитье, взять на цугундер, рознить, напредки, искательство, институтка, ассигнация, греховодник — наудачу выписанные слова, объяснения которых весьма интересны. Словом, там есть что почитать.

II

КАК БЫТЬ СО СТИХАМИ?

1. ПОДАРЕННЫЙ МАМОЙ ЯЗЫК – ДОРОГА К ПОЭЗИИ

Всем приходилось слышать гордые слова: «Я поэзию вообще не понимаю», «Я стихи никогда не читаю».

Позвольте не поверить.

Заявляю со всею ответственностью — в отличие от музыки и живописи (есть люди, для которых до конца их дней живопись — мазня, а классическая музыка невыносима для слуха), способность понимать поэзию заложена в нас антропологически.

Объясняю последовательно.

Первый этап. Мы получаем родной язык в обладание, во-первых, даром — от матери. Не зря во всем мире родной язык называют материнским — кем бы ты ни родился, ты заговоришь на том языке, на котором говорила с тобой с первых дней или месяцев жизни та единственная в мире женщина, которая качала тебя на руках.

Во-вторых, в возрасте еще бессознательном — в начале второго года жизни — слушая родные ласковые речи, вдруг в один прекрасный день *начинаем говорить*.

Вот почему мать разговаривает с нами с первого дня появления нашего на свет — то есть обращает к нам свои речи, под насмешки мужчин: «Да что ты с ним говоришь? Он же ничего не понимает!».

Почему же, почему она говорит с несмышленищем, который не может ей ответить и неизвестно, понимает ли хоть что-то?

Потому что ее ведет *великий материнский инстинкт*: не будешь говорить — дитя не заговорит. Она чаще всего не знает этого, не думает об этом, но — чувствует.

И инстинкт действует с неизменным (за исключением патологии) результатом: в год и два-три месяца

не просто отдельные слова, а *код языка* каким-то чудесным образом оказывается усвоен. Звуки еще не очень-то разборчивы, но склонение, спряжение и многое другое — в порядке! Едва начав говорить, глагол мы уже употребляем не в инфинитиве, скажем, а в нужной форме. Падежи тоже более или менее на месте — то есть спрягаем и склоняем, сами того не ведая! Не говорим ведь — «Молоко — хотеть», а «Хочу молока!».

Это действительно чудесное свойство, которым мы наделены только в первый год жизни (помните «Мэри Поппинс»?..). Ну, еще, может быть, года два. Потом оно куда-то девается — биологам, наверно, известно — куда. Взрослому на изучение какого-либо языка потребуются уже годы и годы. Да и то далеко не всякий заговорит как на родном.

Итак — возможность полного овладения родным (точнее — материнским) языком дана нам с рождения.

Второй этап. Предлагаю аксиому собственного изготовления:

Поэзия есть высшая форма цветения родной речи.

Кто, коллеги-словесники, возьмется меня опровергнуть?

Вывод: значит, нам изначально (см. первый этап нашего рассуждения) дана возможность чувствовать поэтический язык, любить поэзию.

А почему же тогда у многих не получается читать и любить стихи? (Толстого в пример не приводить — сначала надобно стать Толстым.)

А вот почему.

У людей не очень образованных, из семей, далеких от интеллигентной среды, есть такая особенность — непривычно сложные тексты (а стихотворный текст для

неподготовленного восприятия — конечно же, сложный) они с трудом воспринимают *на листе, в письменном (печатном) виде*.

Стихотворение, напечатанное на бумаге (сегодня — и на дисплее), не может для них *звучать*. Почему — дело отдельное; для моих целей достаточно фиксации этого факта.

Кто-то должен перевести для таких людей письменную форму — в звучащую.

Могу заверить всех моих читателей: проверено экспериментально. Читала стихи взрослым людям, которые после средней школы (были среди них и с высшим образованием) *ни разу* не читали стихов и уверены были, что не понимают и понимать не будут. Результат был неизменен — доходило, трогало, просили читать еще и еще. Проколов в этом эксперименте не было.

И недавно, в поездке на машине Москва — Новосибирск — Оренбург — Москва (с просветительскими целями: книги — в подарок библиотекам, блиц-викторина по русскому языку и литературе с призами — школьникам) встретила еще одно важное подтверждение своих результатов.

В Новосибирске Андрей Терёхин ведет на свой страх и риск проект «Общество мертвых поэтов» (по названию одного фильма). Задача его, по мысли инициатора, — способствовать

«росту популярности глубокого изучения поэтического наследия авторов прошлого... При этом *проект учитывает низкую популярность поэзии у современной молодежи и предлагает особый формат вовлечения участников*» (курсив наш).

Проводятся регулярные собрания — например, в Областной Новосибирской библиотеке. За неделю до собрания

«объявляется его тема, например: любовь, страсть, героизм, патриотизм, милосердие, доброта, религия, политика, духовность, справедливость и т. д. Участники Общества в течение недельного срока должны ... найти те стихи, которые, по их мнению, соответствуют заданной теме, и прочесть их вслух на собрании Общества. ...Можно прочитать, спеть, сопроводить музыкальной аранжировкой, танцем и всем, на что хватит фантазии».

Поясняю — в Общество, учрежденное Терёхиным, вошли самые разные люди, по собственным мотивам и соображениям. Среди них — и те, кто *никогда* не брал в руки стихов и был уверен, что не понимает поэзию. Теперь, порывшись в стихах и подыскав подходящее по теме — и, несомненно, потренировавшись для предстоящего публичного чтения вслух, — они с изумлением признаются (мне рассказывали в Новосибирске библиотекари), что, оказывается, вполне понимают стихи! И даже любят поэзию... Не так уж важно, что среди выбранных стихов вновь (как в мои студенческие годы...) возникает все тот же Эдуард Асадов. Важно, что *чтение вслух* оказывается безошибочной дорогой к поэзии.

2. ОБЯЗАТЕЛЬНО ЛИ ВСЕ ПОНИМАТЬ?

А как насчет непонятных слов? В хороших, тем более в очень хороших стихах они уж непременно встретятся.

...Вспомнилось нечаянно: любимые, неизменно меня чарующие строки из «Пира во время чумы»:

Твой голос, милая, выводит звуки
Родимых песен с диким совершенством...

Если не объяснить значения здесь именно слова «дикий»...

Да вот в том-то и суть поэзии, что, хоть объяснить и можно, но действует она и без объяснения!

Когда-то очень важным оказалось для меня свидетельство Марины Цветаевой о ее детском восприятии Пушкина, самом раннем с ним знакомстве — и очарованности.

В замечательном сочинении «Мой Пушкин» (рекомендую каждому словеснику) она, вспоминая свое детское знакомство с Пушкиным, поучает нас (давайте примем как аксиому, что Цветаева в стихах понимала больше нас, грешных, — методистов, учителей и профессоров) — на веки веков:

«...В стихах, как в чувствах, только вопрос порождает непонятность, выводя явление из его состояния данности. Когда мать не спрашивала — я отлично понимала, то есть и понимать не думала, а просто — видела. Но, к счастью, мать не всегда спрашивала, и некоторые стихи оставались понятными».

Вот совсем маленькая еще Марина Цветаева переписывает свое любимое пушкинское «К морю» в «...самосшивную книжку. Зачем в книжку, раз есть в хрестоматии? Чтобы всегда носить с собой в кармане, чтобы с Морем гулять...». (Дело происходит летом в Тарусе.)

Все ли она понимала в любимом стихотворении? Конечно же, нет! Вернее, понимала совершенно по-своему, даже — неправильно. *Что нимало не помешало ей навсегда полюбить это стихотворение.* Мне этот ее рассказ о детском восприятии стихов в свое время очень много дал для понимания сути поэзии.

Да, это восприятие ребенка — не школьника-старшеклассника. Но суть указана верно для всех возрастов; наше дело, повторю, — принять это во внимание.

«— Прощай, свободная стихия!

Стихия, конечно — *стихи*, и ни в одном другом стихотворении это так ясно не сказано. А почему *прощай*? Потому что когда любишь, всегда прощаешься. Только и любишь, когда прощаешься. А “моей души предел желаний” — предел, это что-то твердое, каменное, очень прочное, наврное, его любимый камень, на котором он всегда сидел.

Но самое любимое слово и место стихотворения:

Вотще рвалась душа моя!

Вотще — это туда. Куда? Туда, куда и я. На тот берег Оки, куда я никак не могу попасть, потому что между нами — Ока <...> *вотще* — это в чужую семью, где я буду без Аси и самая любимая дочь, с другой матерью и другим именем <...>. С “Прощай же, море...” начинались слезы. “Прощай же, море! Не забуду...” — ведь он же это морю — обещает, как я — моей березе, моему орешнику, моей елке, когда уезжаю из Тарусы. А море, может быть, не верит и думает, что —

забудет, тогда он опять обещает: “И долго, долго слышать буду — Твой гул в вечерние часы...” (Не забуду — буду...).

Впервые увиденное — близ Генуэзского залива — море ее разочаровало. Она его

«...из-за того первого, уже не могла полюбить.

И — больше скажу: безграмотность моего младенческого отождествления стихии со стихами оказалась прозрением: “свободная стихия” оказалась стихами, а не морем, стихами, то есть единственной стихией, с которой не прощаются — никогда».

То есть — вполне самостоятельно, безо всяких объяснений, поняла, что такое стихи и что такое — стиховое море, море, описанное в стихах, в сравнении с реальным...

Ребенка и подростка надо время от времени оставлять *наедине со стихами* — вот что отсюда следует, вот что имеет в виду искусство. То, чего мы — по традиции, идущей от долгих десятилетий советской власти, — так и не научились делать.

...Когда-то меня поразило отличие экскурсовода в знаменитом чикагском музее от наших, даже самых профессиональных — в Третьяковке или Музее изобразительных искусств. Он указывал группе посетителей на какую-либо деталь в одном из “Стогов” Клода Монэ (собранных в одном из залов в большом количестве) — и затем *замолкал*, созерцая создание художника вместе с экскурсантами. Эти короткие пояснения с длинными паузами повторялись от картины к картине.

Наша школа музейных экскурсий иная: экскурсант с первых минут — под непрерывным давлением громких,

пусть даже (в лучшем случае) квалифицированных интерпретаций едва лишь им увиденного. Ему не дают возможности сосредоточиться на индивидуальном созерцании. (Точно так у нас и со стихами на уроках литературы.)

Не оставлять человека наедине со своими мыслями и впечатлениями, безостановочно *обрабатывать* его сознание — это, несомненно, оставленная нам в наследство черта *советского* типа общественных отношений, когда идеологическая обработка умов была важнейшей функцией власти.

Советская власть, выстроившая идеологическое общество, не могла оставить человека наедине с «дореволюционными» текстами. Вернув в середине 30-х годов классику в школы и освободив ее вроде бы от определенных типа «Горе от ума» — барская пьеса», а «Мертвые души» — выражение идей мелкопоместного дворянства», она все равно десятилетиями обламывала литературу в школьном преподавании на свой лад, навсегда отвращая от Пушкина и Лермонтова. Только тогда об этом помалкивали, а сейчас говорят вслух. Учителей же, которые способны вызвать и усилить любовь к классике, и тогда, и теперь — по несовершенству рода человеческого, — было, есть и будет меньше, чем иных.

...Пластическим выражением этой неутомимой обработки наших мозгов и эмоций служит, на мой взгляд, знаменитая гигантская женщина, размахивающая по воле Вучетича, вопреки физике и физиологии, мечом над Мамаевым курганом.

Водруженная, или, скорее, нахлобученная на курган, она господствует над огромным пространством и лишает тех, кто идет к кургану, возможности сосредоточения. (Испытала на себе: не удалось, приехав туда, остаться

наедине с мыслями о том времени, когда мой отец рядовым пехотинцем удерживал вместе со всеми правый берег Волги, ни секунды не надеясь выйти из битвы живым и вернуться к своим пятерым детям. Потому все эти месяцы не писал семье: «Я хотел, чтобы вы привыкли, что меня уже нет».) Подавляя естественные *личные* чувства, эта фигура инопланетного масштаба навязывает людям, появляющимся в радиусе ее воздействия, *общее* для всех возбужденное изумление перед масштабом содеянного: ишь ты! вот это да! Перед нами — чистая величина. Без мысли, без эмоций, почти физически угнетающая.

Точно так же сама плотность «литературоведения», вываленного на страницы учебника, нежелание оставить подростка наедине с прекрасными текстами настраивает учителя на бесперывное впихивание в головы учащихся этих продуктов весьма средней рефлексии.

* * *

Надо задать себе простой вопрос: добавляют ли что-либо к впечатлению подростка, в первый раз прочитавшего лермонтовский «Парус», такие строки учебника:

«Начав с внешней картины, Лермонтов заканчивает картиной *внутренне неразрешимых противоречий* (“А он, мятежный <...>”), где образы бури и покоя приобретают смысл символов, характеризующих *внутренние переживания*»? (Выделено нами).

Учебник надо, как известно, учить. Осмысленно воспроизвести такие фразы трудно — их можно только зазубрить. Но зачем?!

3. ЧТО ЖЕ НУЖНО ЗНАТЬ ПРО СТИХИ?

Так что же, спросят мои читатели (замученные чиновничьими манипуляциями с русской литературой учителя-словесники), — про стихи совсем ничего, что ли, не надо школьникам рассказывать?

Мое (*личное*, разумеется, — хотя всегда считала это привычное добавление излишним: если «мое мнение», то какое же еще, как не *личное*?..) мнение таково: человек, получивший среднее образование, должен иметь общее представление о силлабо-тонической системе русского стихосложения и о самых распространенных русских двухсложных (ямб и хорей) и трехсложных (амфибрахий, анапест, дактиль) *размерах* (или *метрах* — это, как известно, синонимы).

В попытках получить это представление школьников подбодрят известные строки «Евгения Онегина» (которые учитель, конечно, своевременно напомним):

...Не мог он ямба от хорея,
Как мы ни бились, отличить...

...С самим же пушкинским «романом в стихах» ямб соединился столь неразделимо, что мы, студенты филфака, от души веселились, когда лектор, едва ли не лучший отечественный пушкинист Сергей Михайлович Бонди, предлагал нам представить себе «Евгения Онегина», написанного хореем. И читал с нарочито пляшущей интонацией:

...Дядя самых честных правил
Не на шутку занемог,

Уважать себя заставил —
Лучше выдумать не мог!

От этого шуточного примера как раз недалеко до разговора о том, что действительно стоит рассказывать, говоря о стихах: о сравнительно недавнем (немногим более полувека) открытии так называемого *семантического ореола* стихотворных размеров (метров).

Вот здесь учителю открывается возможность доказать, что нечто литературоведческое может быть интересным. (Школьные учебники уже более века настойчиво доказывают обратное.) Рассказ об этом открытии будет, я уверена, во много раз занимательнее для подростков, чем невнятные рассуждения об *«изображении жизни в образах, соответствующих сути явлений самой жизни»*.

Свою замечательную книгу «Метр и смысл» (М., 1999) выдающийся российский филолог М. Л. Гаспаров начинает так:

«Есть детский вопрос, который стесняются задавать литературоведы: почему поэт, начиная стихотворение, берет для него именно такой-то размер, а не иной? Как на все детские вопросы, на него очень трудно ответить.

Первый напрашивающийся ответ будет такой: значит, в звучании каждого размера есть что-то, от природы имеющее ту или иную содержательную окраску — хотя бы самую неопределенную, чисто эмоциональную. Иными словами, связь между метром и смыслом есть связь органическая. Такой ответ не раз давали сами поэты: например, в начале пути новой русской поэзии — Ломоносов, в конце — Гумилев».

Приводится суждение Ломоносова из его «Письма о правилах русского стихотворства» (1739):

«Чистые ямбические стихи... поднимаясь тихо вверх (пояснить, конечно, школьникам, что именно имеется в виду: первый слог — безударный, а поднимается стих на втором слоге — ударном. — М. Ч.), материи благородство, великолепие и высоту умножают. Оных нигде не лучше употреблять, как в торжественных одах».

Далее — слова Гумилева из статьи 1919 года:

«У каждого метра есть своя душа, свои особенности и задачи: ямб, как бы спускающийся по ступеням (ударяемый слог по тону ниже неударяемого), свободен, ясен, тверд и прекрасно передает человеческую речь, напряженность человеческой воли. Хорей, поднимающийся, окрыленный, всегда взволнован и то растроган, то смешлив, его область — пение. Дактиль, опираясь на первый ударяемый слог и качая два неударяемые, как пальма свою верхушку, мощен, торжественен, говорит о стихиях в их покое, о деяниях богов и героев. Анапест, его противоположность, стремителен, порывист, это стихии в движенье, напряженье нечеловеческой страсти».

И когда юные слушатели увлекутся свидетельством поэта, поверят ему — тут-то как раз и прочитать им скептический комментарий филолога:

«...Любопытно, что ямб с хореем противопоставляются, с одной точки зрения (Ломоносова. — М. Ч.), как вос-

ходящий и нисходящий размеры, с другой (Гумилева. — М. Ч.) — наоборот».

И — неопровергаемый (потому что проверенный Гаспаровым на громадном материале) вывод:

«Импрессионистичные оценки такого рода по самому характеру своему не выдерживают критики: для любого метра могут быть представлены несчетные примеры, противоречащие объявленной характеристике» (выделено нами).

Покончив с первым из «напрашивающихся ответов», Гаспаров переходит ко второму (опираясь на наблюдения нескольких своих предшественников-стиховедов):

«Второй напрашивающийся ответ будет такой: значит, в звучании каждого размера есть что-то, *по привычке (а не от природы) имеющее ту или иную содержательную окраску*. Иными словами, связь между метром и смыслом есть связь *историческая*» (выделено нами. — М. Ч.).

Дальше — пуще. И автор приводит одно из наблюдений-сопоставлений того старшего коллеги, «светлой памяти» которого посвящает свою книгу (ему она и «обязана своим возникновением»), — Кирилла Федоровича Тарановского, из его статьи, сформулировавшей саму проблему («О взаимодействии стихотворного ритма и тематики», 1963). Тарановский сопоставил пастернаковского «Гамлета» («Гул затих. Я вышел на подмостки...» — из стихов к роману «Доктор Живаго»)

и знаменитое «Выходила на берег Катюша» Исаковского. Выбранные ученым примеры оказались весьма удачными и убеждающими — поскольку трудно представить себе более разные по смыслу и эмоциональной окраске сочинения, чем пастернаковский трагический «Гамлет» и простенькая в своей лиричности «Катюша», ставшая народной песней!..

Это и доказывало наглядно, что нет *прямой* связи между метром и смыслом — что дело обстоит много сложнее. Изучению и разъяснению этой сложности Михаил Гаспаров и отдал немало лет своей жизни.

Резюмируя разработки предшественников и делая выводы из огромного, просто непредставимого количества стихотворений XIX—XX веков, проанализированных им лично, он пришел к выводу, который многих школьников удивит и даже озадачит. А затем, надеюсь, кого-то и увлечет. И тех, кто станет под влиянием *настоящих* уроков *литературы* увлеченным любителем поэзии, — возможно, поведет к собственным разысканиям.

Люди, вообще *читающие стихи*, привыкли думать, что поэт пишет стихи «из себя», переливает в них свой неповторимый внутренний мир. Что сочинение стихов — вообще сугубо личное дело. И они, пожалуй, будут несколько ошарашены открытием, что поэзия — дело довольно-таки коллективное.

Выбирая для своего стихотворения, скажем, трехстопный амфибрахий, поэт «выбирает» и всю его историю — можно сказать, объединяет свою работу с работой тех, кто писал этим размером до него... И он адресуетя к читателю не сам по себе, а в некоем содружестве с другими. Потому что любой размер

«несет какую-то смысловую нагрузку, завещанную другими стихотворениями других поэтов и эпох (выделено нами. — М. Ч.), а не диктуемую однозначно идейно-эмоциональным содержанием данного стихотворения...».

По М. Бахтину (пересказанному М. Гаспаровым),

«ни один пишущий не изобретает свои слова сам, он получает их из рук предшественников, со следами прежних употреблений, и успех пишущего зависит от того, насколько он сумеет использовать эти следы предшественников для достижения собственных целей. Точно также и стихотворный размер, за редчайшими исключениями, бывает только “чужим”, воспринятым от предшественников. <...> Мы часто употребляем выражения “память слова”, “память жанра” и пр. — с таким же правом мы можем говорить и о “памяти метра”, которая тоже есть частица “памяти культуры”»*.

* Гаспаров М. Указ. соч. С. 9 —16. Поскольку просматривать сотни стихотворений в целях обнаружения определенного метра и стремления понять, как же в данном конкретном случае проявляется «память метра», — дело «трудоемкое и кропотливое» (в отличие, добавим, от разглагольствований о «реализме»), это «скорее отпугивало, чем привлекало многих исследователей. Так и оказалось, что на протяжении более двадцати лет почти единственным, кто занимался проблемой “метр и смысл”, был пишущий эти строки» (Там же. С. 16). ...И многие коллеги-филологи помнят на разного рода заседаниях сгорбленную над блокнотиком фигуру незабвенного Михаила Леоновича, не желавшего терять ни минуты и считающего стопы и ударения...

4. А ВОТ – ЧТО

Расскажем теперь о конкретных результатах исследований Михаила Гаспарова. Сосредоточимся на одном из размеров — трехстопном амфибрахии, у большинства читателей связанном со знаменитым лермонтовским «Воздушным кораблем».

Начиналось все с переводов трех стихотворений трех немецких поэтов. Одного (Коцебу) перевел в 1822 году Дельвиг вместе с Баратынским:

Ничто не бессмертно, не прочно
Под вечно-изменной луной...
.....
О дружба, да вечно пылаем
Огнем мы бессмертным твоим!..

Через два года, в 1824 году, Дельвиг написал экспромт на лицейскую годовщину — некий вариант того же перевода и в том же размере:

Семь лет миновало, но, дружба,
Ты та же у старых друзей...

И почти сорок лет спустя П. Вяземский напишет «Друзьям» (1862):

Я пью за здоровье немногих,
Немногих, но верных друзей,
Друзей неуклончиво строгих
В соблазнах изменчивых дней...

Любому читающему эти строки слышна общая интонация — не только общий мотив дружбы.

Более чем полвека спустя советский поэт Вс. Рождественский (неплохо освоивший в гимназии русскую стиховую культуру XIX века) напишет свою студенческую (перелицовка *лицейского* мотива!) здравицу — с проекцией именно на прошлый век: он вовлекает в смыслы своего «личного» стихотворения все наработанное предшественниками:

Не надо ни нот, ни оркестра —
Была бы гитара шумна.
Юристы шестого семестра
Сейчас веселее вина...
Пылают воскресные ленты,
А Кетхен целует меня.
Так лейте же больше, студенты,
В широкую глотку огня!

Еще десятилетие спустя, в 1936 году, Борис Корнилов (его расстреляют через год, а двадцать лет спустя посмертно реабилитируют) пишет стихотворение, посвященное Пушкину:

Сегодня ты сызнава в Царском,
От жженки огонь к потолку...
...Ликуя, идут вкруговую
Бокалы, стаканы, ковши...

Всем равнодушным к поэзии уже ясно — данный размер после первого русского перевода немецкого автора (подлинник, конечно, был написан совсем в другой ме-

трической форме) связался с темой *дружеского* застолья. И кто в дальнейшем хотел написать нечто на эту тему — тот выбирал (для наглядности несколько спрямляем, конечно, творческий процесс) для усиления желаемого эффекта именно трехстопный амфибрахий: ведь в «памяти» этого размера уже закрепились темы *здравицы*.

...Любители поэзии давно уже вспомнили, конечно, Осипа Мандельштама — его знаменитое стихотворение 1931 года:

Я пью за военные астры, за все, чем корили меня,
За барскую шубу, за астму, за желчь петербургского дня...

Вот тут уж можно не сомневаться — в памяти поэта-акмеиста удерживались в том или ином виде ВСЕ РЕШИТЕЛЬНО предшествующие поэтические контексты. «Семантический ореол» данного метра был в полном его распоряжении.

Примечательна дальнейшая судьба этого метра — в связи с устоявшейся в его семантике темой *здравицы*.

Советский общественный быт сталинских лет переводит и замыкает постепенно богатые смысловые возможности этого размера, каким сложился он в русской традиции, в нечто плакатно-официозное.

М. Гаспаров констатирует: «Здравные песни на современные темы начинают появляться в конце 30-х годов и строятся обычно на формуле «Да здравствует...» или «За ..! за ..!»:

Да здравствует наша пирушка,
Веселый и тесный кружок,

По правую руку — подружка,
По левую руку — дружок...
(А. Прокофьев, 1939)

Да здравствует наша держава,
Отчизна великих идей,
Страна всенародного права
На радость и счастье людей!
(Шолов, 1939 — песня)

...За мужество — наше богатство,
За пушечный грозный набат,
За наше окопное братство
Прямых и упрямых ребят!..
(А. Сурков, 1942)

Да здравствует наша дорога,
Земля от версты до версты
И небо, которое строго
Смотрело на нас с высоты...
(А. Межиров, 1946)

Да здравствует долгие годы,
Да будет во все времена
Страна трудового народа,
Советская наша страна!
(М. Исаковский, 1946).

...Будь счастлива, молодость, где бы
Ни шла ты сквозь вьюги и зной!

Да здравствует мирное небо
Над каждой былинкой земной!..
(С. Щипачев, 1958).

В военные годы, когда советской власти ради мобилизации народных сил против захватчиков пришлось вспомнить давно изъятое из официального употребления слово «Россия», появилась торжественная интонация знакомого амфибрахия уже в прямой связи с Россией:

Россия... за малую горстку
Из белого моря снегов
Все прелести жизни заморской
Отдать россиянин готов... (Уткин, 1943);

Не страшны нам грозы любые,
Бессмертен советский народ.
Россия, Россия, Россия!
Веди нас к победам, вперед!
(Лебедев-Кумач, 1944);

Россия, Россия, Россия,
Мы в сердце тебя пронесли.
Прошли мы дороги большие,
Но краше страны не нашли
(Фатьянов, 1945).

Почему же этот размер появился именно в стихах о России? Гаспаров проницательно увидел здесь оживление памяти об очень популярных в 1910-е годы стихах о России Андрея Белого:

Исчезни в пространстве, исчезни,
Россия, Россия моя! (1908)

Рыдай, буревая стихия,
В столбах громового огня!
Россия, Россия, Россия —
Мессия грядущего дня! («Родине», 1917).

То есть — стихи советских поэтов подпираются читательской памятью тех, кто любили в свое время (в 1940—1950-е годы многие из них еще живы) стихи Андрея Белого: само звучание трехстопного амфибрахия напоминало о них.

Очень известный (тоже перевод с немецкого — Цедлица) «Ночной смотр» Жуковского (1836) —

...И скачет он взад и вперед,
И громко трубит он тревогу.
И в темных могилах труба
Могучую конницу будит:
Седые гусары встают,
Встают усачи кирасиры...

...В двенадцать часов по ночам
Из гроба встает полководец;
На нем сверх мундира сюртук;
Он с маленькой шляпой и шпагой —

написан, как легко заметить даже на слух, тем же самым размером.

М. Гаспаров рассказывает о колебаниях Жуковского, отразившихся в его черновиках, — выбрать для пе-

ревода ямба или амфибрахий?.. И делает решительный вывод:

«...Выбрав амфибрахий, он определил дорогу и для Лермонтова, и для всей последующей балладной традиции».

К «Ночному смотру» вскоре примкнули лермонтовское переложение того же Цедлица — знаменитый «Воздушный корабль»(1840), ставший, как известно, любимой многими песней, —

По синим волнам океана,
Лишь звезды блеснут в небесах...

и перевод Михайлова из Гейне «Гренадеры» (1846):

«...И смиренно и чутко я буду
Лежать, как на страже, в гробу...
Заслышу я конское ржанье,
И пушечный гром, и трубу:

То Он над могилою едет!
Знамена победно шумят...
Тут выйдет к тебе, император,
Из гроба твой верный солдат!»

(Интересной темой для обсуждения со старшеклассниками могла бы стать, на мой взгляд, демонстрация того, как два стихотворения — «Ночной смотр» и «Гренадеры» — явно повлияли — не ритмикой, а содержанием, — на создание одной из наиболее волнующих, на мой вкус, песен А. Галича «Мы похоронены где-то под Нарвой...».)

Три этих стихотворения породили немало поэтических откликов и прямых подражаний: даже всем в России известная анонимная песня (упоминается с 1887 года) —

По диким степям Забайкалья,
Где золото роют в горах... —

она — оттуда же.

М. Гаспаров выделяет здесь главную тему — «возвращение на родину» (мотив главным образом «Гренадеров»: «Во Францию два гренадера Из русского плена брели...»).

Эта тема проходит по множеству баллад XX века — начиная с баллады 1905 года (год бесславного для России завершения русско-японской войны) знаменитой переводчицы Щепкиной-Куперник —

От павших твердынь Порт-Артура,
С кровавых манчжурских полей
Калека, солдат истомленный
К семье возвращался своей... —

до советского поэта Симонова:

Как вспомню напрасные раны,
Японскую вспомню войну... (1938).

Это же мы найдем и у поэтов русского зарубежья — тех, кто поневоле покинул Россию после прихода к власти большевиков, — например, у Георгия Адамовича:

Когда мы в Россию вернемся...
О Гамлет восточный, когда?

Пешком по размытым дорогам,
В стоградусные холода... (1929).

Не забудем — в XVIII веке в русском стихосложении такого размера вообще не было. Трехсложный амфибрахий вошел в русскую поэзию в первой половине XIX века — и сразу же в том самом многослойном смысловом обличье, которое придали ему четыре поэта: Дельвиг — Жуковский — Лермонтов — Михайлов.

И стихотворение 1930 года другого поэта Серебряного века, ставшего эмигрантом, — Георгия Иванова показывает, как сплетаются в стихах, вступивших в русло трехстопного амфибрахия, проложенное четырьмя поэтами, *морская романтическая тема, темы некоего движения в сторону родины, безбрежности эфира* и т. д. (я бы назвала, например, и особую щемящую ноту):

...И нет ни России, ни мира,
И нет ни любви, ни обид:
По синему царству эфира
Свободное сердце летит.

Баллада переходит в песню — в том числе именно этот размер со всем его тематическим багажом порождает популярнейшую в России песню (на слова Г. Зубарева) «Раскинулось море широко...» (около 1900).

Одновременно, пишет Гаспаров, явилось «и еще более популярное»:

Окрасился месяц багрянцем,
Где море шумело у скал.

Поедем, красотка, кататься,
Давно я тебя ожидал...

Море стало почти неразлучно с этим размером:

Прощайте, скалистые горы,
На подвиг отчизна зовет.
Мы вышли в открытое море,
В суровый и дальний поход... (Букин, 1944).

Но никуда не делась также прочно связанная с этим размером торжественная интонация, которую мы видели в стихах о России, — на ней построились «стихотворения-марши с обязательным мотивом “Иду”, “Идет”, “Шагает”, “Выходит”» (вспомним «Ночной смотр» — «...Из гроба встает полководец...»):

По полюсу гордо шагает,
Меняет течение рек,
Высокие горы сдвигает
Советский простой человек...
(Лебедев-Кумач, 1937);

Смолкают последние птицы,
Гудки перекличку ведут,
Когда горняки Подмосковья
На смену ночную идут...
(Смеляков, 1949);

А рядом идут пионеры
Как сто Ломоносовых в ряд...
(Светлов, 1952);

...Идет комсомольская рота
Дорогой труда в коммунизм (Гудзенко, 1952);

Идут комсомольцы, шагают
В некрепких ботинках своих... (Ушаков, 1961)

М. Гаспаров отмечает: «Наибольшую известность из таких стихов получила поэма Тихонова (1941)»:

В железных ночах Ленинграда
По городу Киров идет.
В шинели армейской походной,
Как будто полков впереди,
Идет он тем шагом свободным,
Каким он в сраженья ходил.

Мало кто из читателей поэмы отдавал себе отчет в том, что показывает на множестве примеров Гаспаров: впечатление от поэмы очень сильно подпирается — именно незаметно для самих читателей! — давним впечатлением от замечательного «Ночного смотра», этот размер оказался навсегда связанным с переводом Жуковского. Киров, еще в 1919 году потопивший в Астрахани в крови восстание рабочих, непосредственно причастный к жестокому насилию над крестьянством во время «раскулачивания», активно проводивший репрессии против ленинградской интеллигенции в начале 30-х годов, был «осветлен» в поэме Тихонова не в последнюю очередь тем, что оправлен в стихи, поддержанные закрепившимся в читательском сознании вековым впечатлением от любимых образцов.

И не только — Жуковского, Михайлова и Лермонтова.

В мировом сообществе филологов-русистов было два *лучших знатока русской поэзии* — живший и работавший в Москве М. Л. Гаспаров и живший и работавший в Америке, в Мичиганском университете Омри Ронен (недавно скоростижно скончавшийся). Ронен очень тонко заметил когда-то, что впечатление от поэмы Тихонова усиливается у русского читателя (незаметно для него самого) и с детства знакомыми и приятными некрасовскими строками:

...Мороз-воевода дозором
Обходит владенья свои...

* * *

Итак:

1) размеры (метры) не содержат в себе никакого специального смысла;

2) смыслы приобретаются ими от стихотворений, написанных этим размером и упавших в копилку читательской памяти;

3) позднейшие стихотворения *надстраиваются*, как *верхние камни пирамиды*, на всем предшествующем фундаменте, впитывают его смыслы и читательскую память о них.

...Не исключаю, что, узнав эту увлекательную историю получше, — не все, но некоторые, во всяком случае, школьники с удовольствием будут искать и собственные примеры.

5. «ВЬЕТСЯ СЕРЫЙ ПУХ ПЕРИН...»

Лев Айзерман пишет про шесть вопросов, предложенных методистами изданного «Просвещением» пособия к стихотворению Тютчева «Не то, что мните вы, природа...», — и приводит два из них, пятый и шестой:

«Как в стихотворении проявилось несогласие Тютчева со сторонниками материалистической философии? Слышит ли жизнь вообще лирический субъект?»*

...Невольно воскликнешь — опомнитесь, господа методисты! Это же для докладов на спецсеминарах филологов и философов с кафедры эстетики, для дипломов, для диссертаций, наконец... Задача школьных уроков литературы — помочь *полюбить* поэзию.

...Если бы я была сторонницей теории заговоров, обязательно бы подумала о заговоре авторов-методистов заодно с издательством против русской поэзии и возможных ее поклонников.

Нет никаких сомнений, что после прочтения этих вопросов только с применением насилия можно заставить подростка читать это стихотворение. О том, что бы оно его затронуло, — не может быть и речи.

В этом смысле даже уже и не так важны *готовые ответы* на эти вопросы, которые даются вслед за вопросами. Повторю: разрушительная сила заложена в самом каскаде вопросов — в их бессмысленном обилии (шесть штук!).

* Айзерман Л. Указ. соч. С. 119.

Заразить же подростков поэзией очень возможно — хотя бы, на мой взгляд, посредством знаменитой (но, увы, не всеми читанной) поэмы Твардовского «Василий Теркин». Почему именно Твардовский? Да чтобы показать, что он — не поэт, оставшийся в советских хрестоматиях, а гордость русской поэзии XX века. Я действительно считаю Твардовского недооцененным поэтом (яркий, погубленный в общем-то «родной» властью редактор «Нового мира» 1960-х годов перевесил поэта в общественной памяти) и хотела бы способствовать переоценке.

Сама конкретика описания крестьянских дворов на оставленной советской армией земле, густая вещественность солдатского быта — это было новым и освобождающим литературу качеством, давно исчезнувшим из подцензурной литературы. В печатной литературе советского времени много лет уже не было места бунинской вещественности, осязаемости бытовых подробностей. («Читая Бунина, мы действительно словно видим, слышим, обоняем, осязаем — всеми органами чувств воспринимаем изображаемую им материю», — писал в свое время Петр Бицилли.)

Чтобы понять, почему это произошло, вспомним — что же именно так подробно описывал Бунин? Крестьянина, его одежду, его движения, его ежедневный труд, его живность, дом, утварь, поле, луг, лес...

Но к рубежу 1920—1930-х все это могло быть описано лишь сквозь призму «колхозной» жизни. Для этого неизбежно двусмысленного и прямо лживого описания живая и дотошная «правдивая» наблюдательность была не только не нужна, но и прямо противопоказана.

Победивший материализм не принимал слишком тесного приближения литературы к материи как к реальности.

Эта реальность, *материальность* живой жизни вернулась в литературу под пером Твардовского — в поэме, посвященной *войне*. То есть — катастрофе, разрушающей быт, деформирующей реальность...

В «Василии Теркине» — обилие *предметов* и *движений*, блестяще, в зримых деталях переданных словесно, *вытесняет идеологизированный плоский образ мира*:

Сам пилу берет:
— А ну-ка...
И в руках его пила,
Точно поднятая шука,
Острой спинкой повела.

Сверкающая предметность делает мир видимым и объемным.

Можно сказать и по-другому — сосредоточившись на вещественном, зрительном облике мира, автор «книги про бойца» не разрушает принятую идеологию, но выгоняет ее на задворки поэмы.

К этому свойству его поэтического эпоса близка *раскрепощенность жестов людей*, совершенно не свойственная предвоенной, предшествующей «Теркину» поэзии и прозе — там жесты нередко были сведены к минимуму невыразительных телодвижений.

В огромном разнообразии энергичных *жестов* у Твардовского — телесная освобожденность человека: предвестие свободы духовной.

...И сам с испугу
Теркин немцу дал леща,
Так что собственную руку
Чуть не вынес из плеча.

Еще напористей свобода воплощена в поэме в слове как таковом: «дал леща», «Чуть не вынес...» — тут жест слит с уже забытой в предвоенной литературе живостью народной речи — эта речь давно была вытеснена из публичного пространства политическим, большинству населения полупонятным языком.

Даже эпитет «советский», «советская», всего несколько раз встречающийся в поэме, уникальным образом оказывается у Твардовского лишенным идеологического наполнения. У него — это всего лишь синоним слова «отечественный», да еще с неуловимой уничижительностью — хотя бы в описании отступления армии (и соответственно, *советской* власти) и последующего мучительного выхода солдат из окружения:

...Как с немецкой, с той зарецкой
Стороны, как говорят,
Вслед за властью за советской,
Вслед за фронтом шел наш брат.

Поэма пошла наперерез многим уже сложившимся советским стандартам повествования об идущей по стране войне.

Трижды возглашает автор в разных местах поэмы:

— Взвод! За Родину! Вперед!

И — ни разу — «За Сталина!»

Это выглядело прямым вызовом. «...Официальный и абсолютно непреложный идеологический канон был начисто устранен из поэмы!» — восторженно писал историк Е. Плимак.

Твардовский не стремился к вызову — он просто не мог отступить от правды войны, которую впоследствии фиксировал историк:

«За два года пребывания на передовой я вообще не слышал <...> каких-либо разговоров о Сталине. <...> И в атаку бойцов поднимало не имя Сталина, а классический русский мат»*.

Так и в поэме:

...Что в бою — на то он бой —
Лишних слов не надо;
Что вступают там в права
И бывают кстати
Больше прочих те слова,
Что не для печати...

Редчайший, если не единственный случай в литературе военных лет: всю войну пишет Твардовский поэму о войне и месяц за месяцем печатает ее по главам в «Красноармейской правде», чьи страницы еще в большей степени, чем страницы «Правды», прошиты

* Плимак Е. Как писался и печатался «Василий Теркин» (Континент. 2008. № 138). И точно так же ответил на мой вопрос, добросовестно подумав, отец, прошедший в пехоте от Москвы до Эльбы: «Нет, дочка, “ура!” — слышал, мат — слышал, имя Сталина, когда в атаку шли, — ни разу не слышал».

именем Сталина. И ни разу в этой поэме не появляется имя Верховного Главнокомандующего.

И это не осталось незамеченным во второй половине военного времени, когда советская власть, уже опомнившись от головокружительных поражений первого года и сдачи противнику половины европейской части страны, обратилась к привычному для нее делу дотошного цензурирования литературы.

Приказ Главлита от 21 января 1943 года:

«Запретить опубликование в печати текста из поэмы Твардовского “Василий Теркин” (часть вторая) “От автора” от строки “Друг-читатель, не печалься...” до “Пушки к бою едут задом — это сказано не мной”».

22 декабря 1943 года Твардовский пишет Г. Маленкову (одному из секретарей ЦК правящей партии), что поэма запрещена к чтению по радио, вычеркнута из планов Воениздата, а «журналы, обращаясь ко мне, просят что-нибудь «не из Теркина!»». И даже редактор фронтовой газеты, где главами печатался «Теркин», «попросту мне сказал: «Кончай!»».

От сталинского функционера А. Щербакова Твардовский узнает явно спущенное «сверху» — считается, что от Сталина, — распоряжение: «Теркина больше «не писать!»» (запись от 19 января 1944 года). И в это же время он, написав «Легенду о Москве», прославляющую Сталина, начинает антисталинскую поэму «Теркин на том свете».

Запись от 9 апреля 1944 года:

«Может быть, еще до конца войны напишу для себя “Теркина на том свете”».

Примечательны здесь именно выделенные нами слова — Твардовский уже допускает возможность и вынужденность непечатной работы (до сих пор все писал для печати).

Он достиг своей главной цели — *стал народным поэтом*. И может теперь откликаться на те призывы своего творческого инстинкта, которые не влезают в установленные государством рамки.

В 1944 году М. И. Твардовская борется одна с редакторами Воениздата, которые, по ее словам, «лучшее выбрасывают из глав...». От всего этого Твардовский в депрессии, писать под таким прессом ему все труднее.

Осенью 1944 года идет работа над новой поэмой «Дом у дороги», где со всей силой должна сказаться трагедия войны. Но работа быстро сменяется нерабочим настроением. «Теркин» не закончен. Работа над новой поэмой также затухает.

И только в конце января — феврале 1945 года он возвращается к работе над «Теркиным» — и новая глава открывается потрясающими для подцензурной литературы, *нигде более в поэзии советских лет не встречающимися жесткими реалиями времени* — картиной наступающей, с боями вступившей наконец в Германию армии. К тому же это вообще поэтически сильные строки:

По дороге на Берлин
Вьется серый пух перин.

Провода угасших линий,
Ветки вымокшие лип
Пух перин повил, как иней,
По бортам машин налип.

И колеса пушек, кухонь
Грязь и снег мешают с пухом.
И ложится на шинель
С пухом мокрая метель...

Любой фронтовик, дошедший до Германии, с ходу узнавал эту причудливую для непосвященных деталь чужеземного ландшафта поверженной страны... А именно им в первую очередь — еще воюющим солдатам, шедшим по бетонным, не пружинящим, как наш асфальт, под сапогом пехотинца, а отбивающим ему подошвы ног дорогам Германии*, адресовал свою поэму автор — поистине поверх барьеров. Хотел, чтобы солдаты увидели — он пишет правду.

Первые строки этой главы записаны в феврале 1945 года во фронтовом дневнике. Вслед за ними идет запись:

«Мягко спали немцы и немки, покуда шла война далеко от них, покуда мы не только сами мерзли и гибли, но и наши семьи многие были лишены крова и т. д.

Бегут, побросали перины» (курсив наш. — М. Ч.).

* Об этой разнице покрытия тоже свидетельствовал мой отец-пехотинец. Помню и другой из очень скупых его рассказов: «Когда перешли границу, вошли в Польшу — бойцы были на пределе, хотели все крушить: многие уже знали о гибели близких, о сожженных домах... Командиры уговаривали: “Держитесь, ребята — подождите до Германии!..” Вошли — все дома пустые... Мирное население бежало: знали уже, что делала в России их армия... Солдаты не знали, как найти выход ярости, — били стекла, зеркала, хрустальные вазы, во всех пустых домах вспарывали шттыками перины... Мы шли — повсюду летел пух...»

Пуховые *перин* выглядят в этой короткой записи экзотикой — каковой они, несомненно, были для большинства русских солдат-крестьян, спавших дома в предвоенные годы в основном на *сенниках*.

...По дороге неминучей
Пух перин клубится тучей.
Городов горелый лом
Пахнет паленым пером.
.....
На восток, сквозь дым и копоть,
Из одной тюрьмы глухой
По домам идет Европа.
Пух перин над ней пургой.

То есть — шли по дорогам Европы освобожденные из нацистских лагерей жители разных европейских стран...

Можно смело сказать, что под пером поэта *оживал*, приобретал права, легализовывался загнанный в угол сугубо частной жизни исконный русский язык.

Крайне важна оценка Бунина — в письме из Парижа в Москву (10 сентября 1947 года) старому знакомому — литератору Н. Д. Телешову:

«...Я только что прочитал книгу А. Твардовского (“Василий Теркин”) и не могу удержаться — прошу тебя, если ты знаком и встречаешься с ним, передать ему при случае, что я (читатель, как ты знаешь, придирчивый, требовательный) совершенно восхищен его талантом — это поистине редкая книга: какая свобода, какая чудесная удаль, какая меткость, точность во всем и какой необык-

новенный народный, солдатский язык — ни сучка, ни задоринки, ни единого фальшивого, готового, то есть литературно-пошлого слова».

Пастернак назвал поэму «чудом растворения поэта в стихии народного языка»...

6. ВОШЛИ В ПОСЛОВИЦУ

Несколько лет назад газета «Вечерняя Москва» обратилась, как обычно, с вопросом к нескольким уважаемым москвичам: «Как по-вашему, нужно ли заставлять детей учить стихи наизусть?»

И поразили меня совсем не те люди, которые отвечали — нет, не надо, зачем мучить детей. Это было грустно, но не удивительно. Удивили другие — те, кто отвечали: да, нужно. Потому что все до одного мотивировали свое мнение так: *это развивает память*.

Строки «Евгения Онегина» и «Горя от ума» стоит выучивать наизусть только для тренировки памяти!..

Пушкин писал А. А. Бестужеву-Марлинскому (за год до восстания декабристов, переломившего жизнь адресата), впервые знакомясь с «Горем от ума»:

«О стихах я не говорю, половина — должна войти в поговорку».

Так и произошло. Точнее, как сказал как-то один талантливый пушкинист: «Пушкин единственный раз ошибся: вошло — больше».

Попробуем проверить. Полистаем «Горе от ума».

Слышится говорок *Лизы* —

Минуй нас пуще всех печалей
И барский гнев, и барская любовь.

Вступает *Фамусов*:

Ей сна нет от французских книг,

А мне от русских больно спится.
С угрожающей интонацией:
Нельзя ли для прогулок
Подальше выбрать закоулков?

И вот лепечет, боясь отцовского разоблаченья, *Софья*,
выгораживая Молчалина, выходящего утром из ее ком-
наты:

...Шел в комнату, попал в другую.

Начинается разговор *Фамусова* с *Молчалиным* о бу-
магах, близкий душе любого российского бюрократа:

МОЛЧАЛИН:

Противуречья есть, и многое не дельно.

ФАМУСОВ:

Обычай мой такой:

Подписано, так с плеч долой.

И опять *Лиза*, со своей простецкой мудростью:

Грех не беда, молва не хороша.

И вновь *Софья*, со своей женской узковатой логикой:

Ах! Если любит кто кого,

Зачем ума искать и ездить так далеко?

Наконец появляется *Чацкий* — со своим набором на
два века запомнившихся русским читателям присловий:

Чуть свет уж на ногах! И я у ваших ног.

.....
Блажен, кто верует, тепло ему на свете!
.....

В семнадцать лет вы расцвели прелестно.

И мгновенный обмен репликами между Чацким и Софьей высекает опять-таки искры присловий — на века:

— ...Где ж лучше?

ЧАЦКИЙ:

— Где нас нет.

И знаменитая цитата из Державина, примененная к месту Чацким и навсегда закрепившаяся у большинства читателей за Грибоедовым:

Когда ж постранствуешь, воротисься домой —

И дым Отечества нам сладок и приятен!

...Помню, как в школе (когда про Державина я еще не знала) мне все хотелось понять эту строку до тонкостей: что же имеется в виду — нам именно *дым Отечества* сладок и приятен? То есть союз «и» просто связывает два предложения обычной сочинительной связью: воротисься домой, и приятен тебе дым отечества? Или «и» означает — *даже дым?*..

И только на филфаке МГУ узнала, что у Державина-то всё, как любят сегодня говорить к месту и не к месту, однозначно:

Мила нам добра весть о нашей стороне:

Отечества и дым нам сладок и приятен.

А у Державина это, в свою очередь, восходит к «Одиссее» и затем к латинской поговорке: «Et fumus patriae dulcis» — «И дым отечества сладок»...

И снова умник Чацкий сыплет поговорками не хуже Фамусова — хранителя старины:

... Числом поболее, ценою подешевле...

.....
Господствует еще смешенье языков:
Французского с нижегородским?

.....
Ум с сердцем не в ладу.

.....
Дома новы, но предрассудки стары...

.....
А судьи кто?

.....
Кричали женщины: ура!
И в воздух чепчики бросали!

О Молчалине:

Но чтоб иметь детей,
Кому ума недоставало?

О Скалозубе:

...Созвездие маневров и мазурки!

О себе:

Я странен, а не странен кто ж?

.....
Служить бы рад, прислуживаться тошно.
.....

Ах! Тот скажи любви конец,
Кто на три года вдаль уедет.

.....
Свежо предание, а верится с трудом...
.....

Кто служит делу, а не лицам...
.....

Чины людьми даются;
А люди могут обмануться.

.....
Когда в делах, я от веселий прячусь,
Когда дурачиться — дурачусь;
А смешивать два этих ремесла —
Есть тьма искусников, я не из их числа.

И снова Фамусов:

Что за комиссия, Создатель,
Быть взрослой дочери отцом!

.....
Читай не так, как пономарь,
А с чувством, с толком, с расстановкой.

.....
А может в пятницу, а может и в субботу
Я должен у вдове, у докторше крестить.
Она не родила, но по расчету
По моему: должна родить

.....
Что говорит! И говорит, как пишет!

.....
Ну как не порадеть родному человечку!..

А вот и Скалозуб — со своей едва ли не на ощупь осязаемой грубошерстностью. Вот он высказывается о женщине:

Мы с нею вместе не служили.

А вот о Москве — войдя этими словами в века:

По моему суждению
Пожар способствовал ей много к украшенью.

Есть и удачи: любимая моя (и не только моя) оценка упавшего с лошади *Молчалина*:

— ...Ну, жалкий же ездок...

Диалог *Фамусова и Скалозуба* — будто на камне высеченный, уцелевший в национальной памяти до наших дней:

— ...Признайтесь, что едва
Где сыщется столица, как Москва.
— Дистанции огромного размера.
— Вкус, батюшка, отменная манера...
...Дверь отперта для званных и незванных,
Особенно из иностранных
.....
...Возьмите вы от головы до пяток,
На всех московских есть особый отпечаток.

.....
Словечка в простоте не скажут — все с ужимкой;

А вот и оказавшаяся столь же долговечной реплика Софьи — в ответ на задирание Чацкого по поводу Скалозуба:

— ...Лицом и голосом герой...

— Не моего романа.

Вот Молчалин учит уму-разуму Чацкого, тот парирует, и реплики его улетают в века:

...К Татьяне Юрьевне хоть раз бы съездить вам.

.....
Мы покровительство находим, где не метим.

ЧАЦКИЙ

— Я езжу к женщинам, да только не за этим.

.....
— ... Слог его здесь ставят в образец,

Читали вы?

ЧАЦКИЙ

— Я глупостей не чтец, а пуще образцовых.

Да и Молчалин — и его слова долетели до наших дней:

В мои лета не должно сметь

Свое суждение иметь.

Освежив в своей памяти эти строки, скажите сами — разве не ясно из этого, почему Грибоедова надо,

во-первых, читать на уроке литературы вслух, по ролям, а во-вторых — учить в школе (а когда же еще?!) наизусть?

Знание всеми людьми России строк великих поэтов, возможность перебрасываться ими в разговоре без пояснений...

Повторю: после родного общего для всех языка наша прекрасная русская литература — то, что делает нас единой нацией.

Прочие «национальные идеи» — сомнительны.

7. ЛИЧНОСТЬ АВТОРА И ТВОРЧЕСТВО

Есть вопрос, который всегда — осознанно или неосознанно — занимает вступающих в мир высокой, подлинной литературы, каковой, без всякого сомнения, является русская классика: о соотношении личности писателя и его творчества. Примитивно формулируя: романы — хорошие. А человек-то он сам был хороший?

Вопрос, собственно, можно поставить даже острее: действительно ли нужно и вообще — можно ли соотносить личность автора с его сочинениями?..

В России — более чем полуторавековая традиция литературоцентризма (прервавшаяся, на мой взгляд, в самом начале 90-х*). Одной из составляющих этого явления стала огромная интеллектуальная и этическая нагрузка, возложенная российским обществом на писателя. Он был у нас и жнец, и швец, и на дуде игрец; и пророк, и политолог, и экономист — носитель истины в последней инстанции по всем вопросам. (Помню, как когда-то ходили самиздатские — сейчас, наверно, давно изданы с золотым тиснением — любовно собранные сборники недружелюбных высказываний русских писателей — не только прямых, но от имени любых

* Конец этот я зафиксировала в начале 1991 года в статье «Не заслоняться от реальности» (Литературная газета. 1991. № 1 (5327). 9 января. С. 1, 10). Основывалась в своем диагнозе среди прочего на наблюдениях за истерическим поведением делегатов VII съезда писателей РСФСР в декабре 1990 года (никто еще не знал, что все съезды — последние: и XXVIII КПСС, и VII-й — писателей РСФСР...). На съезде господствовала, писала я, атмосфера безотчетного гнева на ущемление казавшихся пожизненными прав (на очень высокие гонорары за «нужные» правящей партии книги и т. п.), стремления вернуть эти права любой ценой, в том числе и поворотом истории вспять.

героев — о евреях, под девизом: «Вот видите!.. Даже такой замечательный писатель не любил евреев!»). То есть прямым следствием литературоцентризма были завышенные требования к поэту и писателю — он должен был служить нам примером во всем.

Между тем все самое важное на эту тему с предельной исчерпанностью было давным-давно сказано нашим Первым Поэтом. Надо было только читать его строки не механически, а со вниманием. И школьникам объяснять, что это — не только для красного поэтического словца, но и — для буквального понимания:

Пока не требует поэта
К священной жертве Аполлон,
В заботах суетного света
Он малодушно погружен;
.....
И меж детей ничтожных мира
Быть может, всех ничтожней он.

Неожиданным результатом конца советского времени и заодно литературоцентризма стал взрыв нелепых нападок на живых и умерших поэтов.

Едва ли не главным объектом стала Анна Ахматова. Причем поразительным образом не только под пером бездарной литераторши, бросившей все силы на «развенчание» Ахматовой (посвятившей этому целую книгу), но еще ранее того — квалифицированного, тонкого филолога. Им была для начала выстроена классификация интерпретаций биографии и творчества поэта — и затем особенное неодобрение вызвала «культовая: мемуарно-житийная» трактовка, в которой

«Ахматова *предстает* героической личностью, твердо противостоявшей советскому давлению (включавшему расстрел ее бывшего первого мужа — Н. С. Гумилева — и повторные аресты ее третьего мужа — Н. Н. Пунина и сына — Л. Н. Гумилева) и тайно создававшей официально не приемлемые поэмы (“Реквием”, “Поэму без героя”), а в личном плане являвшей колоритно противоречивую фигуру сильной — аскетичной и своевольной, величественной и остроумной, альтруистичной и самовлюбленной — женщины, законодательницы гонимой культурной традиции*, королевствующей повелительницы небольшого кружка неофициальных почитателей и помощников, мастерицы собственного имидж-мейкинга» (курсив наш).

То, что Ахматова не просто *предстает* героической личностью именно в *житийной* трактовке ее жизни, а ею, несомненно, и *является*, как-то проскакивает в потоке насмешливой интонации. Зато легко прочитывается в микшированно — язвительном перечне ее качеств простенькая мысль: хорошо бы она, испытывавшая все добросовестно перечисленное в скобках (хватило бы сlixвой, прямо скажем, на несколько жизней), осталась при этом *не* своевольной, *не* величественной, *не* самовлюбленной, *не* королевствующей да еще и *не* заботилась о собственном имидже...

Не буду ничего пояснять — хороший учитель литературы легко найдет аргументы, чтобы выработать у под-

* При изучении русской литературы XX века старшеклассникам неминуемо придется сообщать, что в советское время никакого Серебряного века не существовало — это были «годы реакции», которые и не могли дать никакой «культурной традиции» (понятно поэтому, что Ахматова воплощала именно *гонимую* в советское время традицию).

ростков иммунитет против поношений поэта. И прежде всего — чтением вслух ее поразительных строк, сразу отбрасывающих хулителей за некую черту. Важно довести до сознания юных слушателей несколько прописей.

Первая — сформулирована Пушкиным («Пока не требует поэта...»).

Вторая — в одном из писем Льва Толстого:

«Лучшее, что в нем есть, писатель отдает книгам — вот отчего книги его хороши, а жизнь дурна».

Третья — все помнят строки Ахматовой:

Когда б вы знали, из какого сора
Растут стихи, не ведая стыда...
.....
Сердитый окрик, дегтя запах свежий,
Таинственная плесень на стене...
И стих уже звучит, задорен, нежен,
На радость вам и мне.

Как у Пушкина — и красота стихового звучания, но и — важный буквальный смысл. Написано в 1940 году; за хрупкими плечами — груды самого разного «сора»: деготь на заборе, плесень, сын в лагере, грубые окрики... Из всего этого росли ее стихи:

...Что почести, что юность, что свобода
Пред милой гостьей с дудочкой в руке!

Этот перечень важнейших ценностей, отвергаемых в момент явления Музы — предпочтенных им всем! —

крайне важен для понимания самой сути феномена творчества. Все, решительно все отодвигается при появлении Музы!..

...Остается нам понять самим и донести до подростков, вступающих в море высокой поэзии: мы *не знаем*, откуда берутся стихи. Не знаем (и вряд ли узнаем в обозримом будущем), *что именно* обречен поэт бросить в топку, чтобы выплавились стихи. И не надо ворошить этот сор (нам, не поэтам, все равно не понять, как из жизненного сора возникают стихи). И уж тем более — стыдить поэта за прикосновение к мусору. За то, что он жил не так, как мы с вами посчитали бы для него более подходящим...

III

КАК БЫТЬ С РУССКИМ ЯЗЫКОМ?

...Не будет ли это предприятие или, чтоб еще более, так сказать, выразиться, негоция...

Гоголь, «Мертвые души»

1. ЗНАТЬ РОДНОЙ ЯЗЫК

Что значит — знать родной (или второй родной) русский язык?

Предупрежу сразу — мой взгляд на это отличен от взгляда многих словесников, устроителей олимпиад и изобретателей ЕГЭ.

Полагаю, в первую очередь это:

а) понимать значение *всех* слов, входящих в состав родного языка: даже если человек ни разу в жизни не употребит этого слова — встретив его на страницах романа Толстого, он должен понимать значение;

б) уметь правильно говорить — грамотно строить фразу, правильно произносить слова, правильно ставить ударение...

Грамматика должна быть освоена в 5—6 классах. А дальше надо именно *учить говорить*. Грамотно изъясняться на родном языке, чему сегодняшняя школа весьма мало уделяет внимания.

Правописание же — дело особое. Конечно, школа должна по возможности выучить человека грамотно писать. Однако всем учителям известно, что здесь никогда нельзя заранее гарантировать, что удастся добиться нужного эффекта.

...Поделюсь результатами своего давнего эксперимента.

После окончания университета я была рекомендована Ученым советом в аспирантуру, но сдавать экзамены не могла: по тогдашним правилам сначала надо было два года отработать. У меня был свободный диплом (мой муж, А. П. Чудаков, доучивался — после годичного академического отпуска по болезни). Я не

стала устраиваться в редакцию или на какую-либо си-некуру, поскольку была убеждена, что филолог обяза-тельно должен поработать в школе — понять, что там вообще можно сделать? (Этими словами объясняла свое решение друзьям именно тогда — не потом при-думала.) Директор моей бывшей школы рекомендо-вала меня в одну из школ Сокольнического района; мне дали 9-й класс и 5-й — с классным руководством в при-дачу. (Вот почему я позволяю себе обращаться к сло-весникам как к *коллегам*.) Там я быстро убедилась, что кто неграмотный — тот неграмотный, сколько ни занимайся с ним дополнительно. У меня была насчет этого своя гипотеза; теперь представился случай ее проверить. Я опросила весь свой 5-й класс — помнит-ся, 42 человека — кто когда выучился читать?

Гипотеза моя подтвердилась на 100 %, как даже и не бывает, — все немногие грамотные ученики выучи-лись читать *до школы*. То есть — когда еще рассматри-ваешь слово как картинку, запоминаешь его внешний облик...

Хотела бы здесь развести два эти качества. Я знала (и сейчас знаю) людей, которые очень хорошо владеют родным языком, прекрасно говорят и пишут — но пи-шут неграмотно или не очень грамотно.

И наоборот — мы знаем тех, кто почти не делает орфографических ошибок, но неграмотно строит свою устную речь. И так далее.

Позволю себе предложить тем учителям 5—6 клас-сов, кто согласится со мной относительно необходимо-сти знания *всех* слов русского языка, некий вспомога-тельный материал для убеждения школьников в нашей правоте.

Это — фрагмент из моего детского детектива «Дела и ужасы Жени Осинкиной» (из первой книги «Тайна гибели Анжелики», вышедшей уже пятым изданием; глава — «Том»; не скрою — одной из составляющих замысла книги было намерение неназойливо привлечь внимание подростков к родному языку). Тринадцатилетний Том (сын русской мамы из Вязьмы и американца) ведет дискуссии о русском языке с примкнувшим к их компании (после некоторого разочарования в своей среде) скинхедом Денисом (он же — Скин). Том поясняет ему:

«“Зеленя” — это когда осенью появляются зеленые побеги озимых, посеянных этим летом под зиму. А озимые, посеянные прошлым летом, к этому времени уже убраны».

Деревенские ребята это прекрасно знают. Но для Дениса, что называется, выросшего на асфальте,

«это была полная абракадабра.

— А зачем мне знать-то это?

— Ну, вот ты любишь Россию. А Лев Толстой — это русский писатель?

— Ну.

— Мы должны им гордиться?

— Ну.

— А чтобы гордиться, надо сначала его читать. И неплохо бы при этом понимать, что читаешь».

Том читает ему вслух из «Войны и мира»:

«— “Уже были зазимки, утренние морозы заковали смоченную осенними дождями землю, уже зеленя уклочи-

лись и ярко-зелено отделялись от полос буреющего, выбитого скотом озимого и светло-желтого ярового жнивья с красными полосами гречихи”. <...>

У Дениса все внутри клокотало, но как возразить, он не знал. Не скажешь ведь — “Плевать я хотел на вашего Толстого!” <...>

Том легко показывал Скину, что если ты уж так настаиваешь, что “Россия — для русских!”, то для начала неплохо бы знать свой родной русский язык, а не заменять — «не поганить», как обычно говорил Том, — его блатным или полублатным.

— Почему ты так не любишь родной язык? — вопрошал Том Дениса. — “Наезжать” — такого слова в вашем блатном значении в великом русском языке нет, — пояснял он, доводя Скина до белого каления».

Ну, и так далее.

В трилогии о Жене Осинкиной — очень большой материал по русскому языку, вполне пригодный для использования в средних классах — в детективно-увлекательной, так сказать, упаковке.

2. НЕ НАЕЗЖАЙТЕ, БУДЬТЕ ДОБРЫ!

Теперь приглядимся пристальной к полюбившемуся в последние десятилетия столь многим слову «наезжать».

Вот в недавней газете — заметка уважаемой и симпатичной Ирины Хакамады. Название — «Анатомия наезда в России». Можно думать, что здесь слово *наезд* — в заглавии, и именно поэтому — будто бы даже и в кавычках.

Но читаем в тексте самой статьи:

«Правые, будучи у власти, боролись с левым поворотом, как могли, а в 1996 *наехали*, конкретно на Зюганова, используя в том числе и масс-медиа».

Дальше описываются «нулевые годы»:

«...Постепенно правые стали главными оппонентами. На них *наехали*, используя суды, избирательное законодательство и национализм “Родины” Рогозина. Неожиданно национализм превратился в реальную угрозу, и “Родину” закрыли...».

Однако при «кризисной длинной волне мировой экономики» опять опасными становятся левые.

«Пора *наезжать*. <...> Вывод: *наезд* на Удальцова носит знаковый характер...» (Известия. 11 октября 2012).

Остановимся на выделенном нами слове — это поможет понять сегодняшнюю речевую ситуацию. Учи-

тель-словесник не может себе позволить безвольно плыть по течению речевой стихии: он должен, как минимум, осознавать суть процессов, как максимум — помочь учащимся занять в них свою осмысленную позицию.

Начну издалека.

М. Кронгауз справедливо отметил, что новые «бандитские» слова «чрезвычайно любопытны и интересны с точки зрения лингвиста». Важное наблюдение: «Среди них почти нет заимствований».

Эти слова

*«возникают благодаря мощному и продуктивному словообразованию. Ведь в самих моделях, по которым образованы слова *беспредел*, *отморозок* (здесь задействована* еще и метафора — переход от замороженного состояния к отморозенному, то есть ничем не скованному), *наезд* и *распальцовка*, нет ничего дурного. Кстати, слово *наезд* существовало и в древнерусском языке», но сегодня «язык по существующей модели создал это слово заново примерно с тем же смыслом, но применительно к новой действительности. Если раньше *наезд* осуществлялся на конях, то теперь, по-видимому, на *меринах*» (подразумеваются «мерседесы»). «Самой же любопытной оказалась судьба нескольких слов, которые из разряда бандитских перешли в общеупотребительные <...>, расширили свое значение и стали привычны в речи образованного чело-*

* Не могу не заметить, что этот неологизм (так же, как употребленное на следующей странице слово «впечатлил») в нашу с М. Кронгаузом речь предпочла бы не впускать. *Пока*, во всяком случае. Наравне, скажем, с глаголом «озвучить» — ведь его функцию успешно выполняет давнее слово «огласить». Чем, собственно, *звук* точнее *голоса*?..

века (вот это последнее утверждение мы надеемся далее оспорить. — М. Ч.).

Часто они заполняют определенную лауну в литературном языке — то есть выражают важную идею, для которой не было отдельного слова. Такими словами оказались, например, *достать* и *наезд*. Они стали очень популярны и постоянно встречаются в устном общении, хотя бы потому, что точнее одним словом не скажешь (заметим: никто не доказал, что необходимо во что бы то ни стало довольствоваться *одним* словом. Может быть, как раз важно не бояться чуть более развернутой речи — то есть свободного владения родным языком?.. — М. Ч.). Кроме всего прочего, в них есть экспрессия и особая эмоциональная сила (но в матерной лексике ее, несомненно, еще больше! — М. Ч.), характерная для многих жаргонизмов <...>

Бороться с подобным “обогащением” русского языка абсолютно бессмысленно...»*

Не уверена. Точнее — уверена как раз в обратном.

И уж во всяком случае — совсем не соглашусь с уместностью обоих этих слов «в речи образованного человека».

Первое из этих слов (извините за необходимость объяснять) несет на себе нестертую печать описания деталей сексуального акта (потому и возникло, видимо, в функции брани в мужской компании) — и уж во всяком случае неуместно в устах женщины.

Касательно же *наезда* — приведу фрагмент реального телефонного разговора. Взрослая дочь — образо-

* Кронгауз М. Русский язык на грани нервного срыва. М., 2007. С. 25—27.

ванная молодая женщина, что называется, из хорошей семьи, и ее интеллигентная мать:

— Мама, что ты на меня *наезжаешь*?

— Видишь ли, наши с тобой отношения достаточно сложны, многосоставны, чтобы их можно было описать одним, да к тому же столь неудачно выбранным словом.

Дочь, представьте себе, согласилась.

А теперь вернемся к фрагменту из статьи Ирины Хакамады.

При описании прямолинейно-грубых действий нынешней власти, пожалуй, тянет иногда и смириться с таким выбором слов — *наезд*, *наехали*. Но не соглашусь с уместностью полублатной лексики при описании сложнейшей политической ситуации 1990-х годов. Тогда советский псевдополитический язык кончился, а новый — не выработался, наспех стали пользоваться блатным аргументом и — да, эти словечки «из разряда бандитских перешли в общеупотребительные» (М. Кронгауз). Потому что этот язык оказался — увы — единственным подручным противовесом (самым резким — это и понравилось) советскому официозному.

...Почему же, спросит кто-либо, «не выработался» новый политический язык — и пришлось обращаться к ресурсам блатного?

Ведь дома-то, на знаменитых «московских кухнях», не говорили мы о «горячем желании беззаветно служить делу дальнейшего процветания» — говорили все же по-другому? Да и самиздатские авторы писали на свой манер...

Так-то оно так. И все же не получилось у нас того, что удалось полякам — там был создан во время гос-

подства «социалистической» системы настоящий *подпольный язык*. Сегодня о нем российские лингвисты пишут так:

«Его роль в сохранении тождества, духа и внутренней свободы нации трудно переоценить»*.

Вышло так, что новую и каждодневно усложнявшуюся социальную и политическую ситуацию в России стали описывать при помощи убогого словаря, наскоро скроенного из блатного. *Но описать и осмыслить ее адекватно на этом языке никоим образом было невозможно*. И язык — представьте себе! — помешал нашему нормальному движению в направлении нормальной демократии... Роль языка в общественных процессах никак нельзя недооценивать.

...Помню, как азартно, стремясь превзойти друг друга в экспрессии формулировок, выкрикивали журналисты — «Ельцин сдает своих!»

Резал слух и взгляд этот сленг — разговор уголовников в камерах: «колется», «всех сдал» и т. п.

Потому, среди прочего, так легко и отдали осмысление драматической и важнейшей в нашей истории эпохи 1990-х под дешевые ярлыки — в годы последующие, теперь уже прочно названные «нулевыми». Тогда возникло стремление выпрямить историческую жизнь России XX века, заключить в рамки удобопонятной патриотической схемы «для бедных». Что и было сде-

* Русский язык сегодня. М., 2004. С. 281. Ссылку даю специально для анонимных доброхотов из интернета, чтоб не кинулись сходу уверять друг друга, что сама же я это и выдумала про проклятых ляхов; впрочем, таким, конечно, и ссылка не указ.

лано. Поэтому позволю себе на этих страницах упомянуть, предложив вниманию учителей (больше, правда, учителей истории), мою книгу «Егор» («Биографический роман. Книжка длямышленных людей от десяти до шестнадцати лет»), недавно написанную исключительно ради прояснения эпохи и личности ее главных деятелей.

3. ЯЗЫК РАСПАВШЕЙСЯ ЦИВИЛИЗАЦИИ

Все, что происходит с языком сегодня, может быть по-настоящему осмыслено только тогда, когда мы представим себе предшествующую семидесятилетнюю речевую жизнь советского времени, обступавшую нас лозунгами, глядевшими со всех стен и рекламных щитов.

Все ли помнят ее? Все ли понимают, о каком именно советском политическом языке, отталкиваясь от которого после конца советской власти, ухнули сразу в блатной сленг, только что вела я речь?

«...Помогают формировать морально-политический облик поколений, в основе которого коммунистическая идеология... горячее желание беззаветно служить делу дальнейшего совершенствования построенного в нашей стране развитого социалистического общества...»

Как раз канун «перестройки» — газета «Московский литератор» в сентябре 1985-го. Но создан и сцементирован это язык был много раньше.

«Тем, кто не жил в тридцатые годы, трудно себе представить тогдашнюю атмосферу абсолютной монополии государственного или партийного, что то же самое, социалистического или коммунистического слова... Тридцатые годы — это прежде всего время цитат и лозунгов. Они были везде, в любом учреждении, на улицах, в газетах, журналах, даже на спичечных коробках. Они кричали, требовали, проклинали и звали вперед...»

Дальше у автора примеры — из Сталина («Нет таких крепостей, которые не могли бы взять большевики!», «Техника в период реконструкции решает все!», «Кадры решают все!»), из Горького («Если враг не сдастся, его уничтожат»)...

Я цитирую книгу, замеченную мною только десять лет спустя после ее выхода. Автор — капитан первого ранга в запасе, 1926 года рождения, И. Д. Шабалин — назвал свое мемуарное сочинение «Свидетель социализма».

В ней назван огромной важности факт семидесятилетнего советского устройства — партийная *монополия на язык*. Этот феномен описываю я в большой недавней работе*; там среди прочего отмечено, как тексты, созданные на этом языке, потеряв в течение трех дней Августа 1991 года свою властную функцию, потеряли и коммуникативную. И превратились в *памятники* завершившейся цивилизации.

...Молодые читатели, может, и не очень-то понимают, о каких именно словах идет речь.

В том и суть, что речь по большей части не об особенных каких-то словах, а о том, во что превращались самые обычные слова — от многократного их употребления в демагогических, лицемерных, лживых контекстах. *Объективных* способов отнесения слова к разряду советизмов практически нет — только субъек-

* «Язык распавшейся цивилизации»; вошла в мой сборник «Новые работы: 2003—2006»; вскоре выйдет в расширенном виде отдельной книгой — наряду с довольно объемным (около 40 печатных листов) «Словарем советизмов» (начала составлять еще в конце 1960-х — в уверенности, что советская власть рано или поздно рухнет и необходимо оставить материал для ее изучения).

ективный. То есть — путем опроса бывших жителей Страны Советов.

Вот я сомневалась, например, насчет включения в свой «Словарь советизмов» безобидного, на сегодняшний взгляд, словца «иногда». И вдруг натыкаюсь у Жванецкого, непревзойденного знатока советского устройства — и языка, и порядков, и наших в какой-то степени оробелых душ, — среди его сочинений восьмидесятых еще годов на эссе под названием «Непереводимая игра»:

«Наши беды непереводимы. Это непереводимая игра слов — даже Болгария отказывается. Они отказываются переводить, что такое “будешь третьим”, что такое “вы здесь не стояли, я здесь стоял”, что такое “товарищи, вы сами себя задерживаете”, что значит “быть хозяином на земле”. Они не понимают нашего языка, ребята. Как хорошо мы все придумали. <...> Шпион среди нас — как белая ворона. По первым словам: “Голубчик, позвольте присесть” — его можно брать за задницу. <...> Уборку мы называем битвой».

Да... Пока еще немало среди живущих тех, кто хорошо помнит, как каждую осень — без исключения! — появлялись на первых полосах газет статьи с одним и тем же заглавием — *«Битва за урожай»*.

И дальше встретила я у Жванецкого нужное мне слово:

«А наши попевки: “порой”, “иногда”, “кое-где”, “еще имеются отдельные...”? А борьба за качество? Кому объяснишь, что нельзя сначала производить продукт, а потом начать бороться за его качество?»

И больше уже не сомневалась в том, что в советские времена слово «иногда» было советизмом — я Жванецкому в этом доверяю.

4. ВМЕСТО СЕРДЦА – ПЛАМЕННЫЙ МОТОР!

В 1922 году был сочинен бодрый «Авиамарш». Те, кто тогда с энтузиазмом пели:

Нам разум дал стальные руки-крылья,
А вместо сердца — пламенный мотор!

они, пожалуй, ощущали это пламя в груди.

Тринадцать лет спустя, в 1935 году, в пьесе М. Булгакова «Иван Васильевич» (так и не попавшей на сцену при жизни автора) — разговор квартирного вора Милославского (перенесенного ненароком в эпоху Ивана Грозного) с послем шведского короля через переводчика-дьяка:

ДЬЯК. Он спрашивает — чего королю передать.
МИЛОСЛАВСКИЙ. Наш *пламенный привет*.

Тут же раздается голос несчастного «бывшего князя», а теперь управдома Бунши:

БУНША. Я не согласен королю *пламенные приветы* передавать. Меня общественность загрызет.

Он-то, чуткий к советскому климату, и удостоверяет, что слово стало советизмом — то есть приобрело четкую прикрепленность к определенным контекстам.

Десятилетие спустя в основополагающем в идеологическом отношении журнале «Большевик» (1944, № 2) четверо авторов (напомню их поглощенные Летой имена и название статьи: *Горшков В., Ваулин Г.*,

Рутковская Л., Большаков П. «Об одной вредной повести») учиняют разгром новой повести Михаила Зощенко «Перед восходом солнца» и противопоставляют ей произведения, в которой все четверо «находили пламенный призыв к жизни и борьбе, непоколебимую веру в торжество нашего правого дела» — тут явно для всех никакого пламени уже нет.

Проходит еще долгих сорок лет. Потеряв не просто всякое чувство меры, но, кажется, и всякую способность к соображению, члены Политбюро так аттестуют своего сотоварища, тяжело больного Черненко, вытаскивая его — из целей чистого самосохранения — на должность Генерального секретаря КПСС:

«Константина Устиновича отличает умение зажечь людей своей энергией...» (говорит совсем не самый глупый среди властной десятки людей, председатель Совета Министров СССР Н. А. Тихонов).

И далее:

«Где бы ни трудился Константин Устинович, он всегда проявлял себя как <...> *пламенный* пропагандист марксистско-ленинских идей».

Люди смотрят на экран, видят старого и явно очень больного нового генсека (он умрет через год) — и можно не сомневаться в том, что в стране нет *ни одного* более или менее психически здорового человека, который принимает слова о его *пламенности* всерьез.

Тогда к кому же и зачем они обращены?

А этот вопрос вообще не встает.

Вот что такое *советизмы*.

Примечательно и все-таки не может не удивлять, что сильные эпитеты — *горячий, кипучий, пламенный* — продолжают использоваться властью и тогда, когда очевидным для всех (и, надо думать, для нее самой) фактом стало полное исчезновение из жизни общества чего бы то ни было *горячего и пламенного*.

...Советским стало само старое русское слово «*слава*».

«Слава партии!», «Слава советскому народу!» — эти плакаты глядели на нас отовсюду. Недавно говорила об этом с профессором Московской консерватории Вс. Задерацким, и он вспоминал, как шел когда-то по Лондону и думал — можно ли представить себе здесь плакат «Слава английскому народу!»?

5. ВСЕРЬЕЗ И НАДОЛГО?..

А куда же делись слова и выражения, из которых состояли эти тексты?

Значительное их число, отмывшись от советской раскраски, вернулось, естественно, в ячейки русской речи. И лишь часть сограждан (автор этой книги среди них) пока еще вздрагивает, читая миролюбивые по авторскому замыслу строки про замечательную поэтессу Марию Степанову:

«Читатель вправе ждать от нее многого и предъявлять к ее таланту самые серьезные требования...».

И те же самые сограждане веселятся, охотно вступая в конвенциональные отношения с автором, играющим советизмами:

«Хабаров стал *всерьез и надолго* задумываться о жизни. <...> Неизвестно зачем едет по жаре отдыхать в Крым, злой как собака в результате перенесенных испытаний, заставивших его *всерьез и надолго* задуматься о жизни. <...> Не думать же *всерьез и надолго*, что она решила от Хабарова сбежать...» (рассказ Евгения Попова в его книге «Опера нищих»).

А другие читатели (моложе, скажем, 30 лет) — знать не знают, в чем тут, как они бы выразились, понт: не читали они никогда выступление Ленина 1921 года, где он пообещал согражданам НЭП «*всерьез и надолго*», и не застряло оно у них в ушах от десятилетий цитирования — когда советская власть поселилась в России и правда *всерьез и надолго*.

Но так же сегментирует читательскую аудиторию и роман «Мастер и Маргарита». Только часть сегодняшних читателей понимает авторскую игру с советизмами, поскольку помнит их в составе грозной и действенной официозной речи.

«...Крепко ударить по пилатчине и тому богомазу, который вздумал *протащить* (опять это проклятое слово!) ее в печать», «Прилетело воспоминание о каком-то *сомнительном* разговоре... То есть, конечно, в полном смысле слова разговор этот *сомнительным* назвать нельзя (не пошел бы Степа на такой разговор), но это был разговор на какую-то *ненужную* тему».

Чтобы увидеть едкую игру Булгакова, надо знать, например, что в «политически *сомнительных* формулировках» обвиняли в 1955 году авторы «Записки» в ЦК КПСС журнал «Вопросы истории», в котором впервые после Сталина робко приподымала голову советская историческая наука.

Или увидеть в горé опубликованных сегодня секретных документов донесение 1963 года ленинградской цензуры партийным органам о том, что ее, цензуры, усилиями в работе Д. С. Лихачева «*ненужная*, путаная концепция, ведущая к идеализму, была снята».

Иное дело советизмы, употребляемые сегодня почти всерьез, — видимо, с бессознательной верой в то, что они и рассчитаны *всерьез и надолго*, и действительно живы, поскольку советское всегда с нами:

«Упрямый *недобиток*, не желающий идти в ногу со всеми остальными (! — М. Ч.) и потому при всей своей омерзи-

тельности (так его! Если враг не сдается... — М. Ч.) вызывающий даже какую-то симпатию» (О. Кашин в разгар осенней предвыборной кампании об одном из активистов «чужой» партии).

О «недобитых буржуях» говорили герои авторитетной в советском мире «Оптимистической трагедии». Да и в 1947 году, в рассказе, скажем, Н. Атарова:

«— Гляди: *недобитый*, — сказал Рачков... Высокий старик в городском пальто и мягкой пуховой шапочке стоял под соснами... Расстегнув на ходу кобуру нагана и выпрыгнув из коляски, Ланговой приблизился к подозрительно нелепой и неуместной фигуре горожанина...»

В учебнике же для вузов российского члена Европейского суда А. И. Ковлера «Антропология права» (М., 2002) слово уже, конечно, заключено в кавычки:

«...Для поступления в вуз требовалось доказать свою принадлежность или хотя бы причастность к трудящимся (дети *“недобитых буржуев”* заручались, например, “рекомендациями” профсоюзов извозчиков или прачек, нередко при содействии своей бывшей прислуги)».

Начальная фраза Ленина на открытии 1-го съезда рабочих, солдатских и крестьянских депутатов — «Пролетарская революция, *о необходимости которой так долго говорили (твердили) большевики*, — совершилась!», зафиксированная даже на пластинках (выпускаемых фирмой «Мелодия»), стала основой для многих фраз советской официальной речи, а после

конца советской власти — для пародийного употребления:

«Коммунистическая партия, о необходимости которой говорила вся страна, попряталась» (Жванецкий М. Эммануилу Моисеевичу Жванецкому от сына);

*«...Именно такие процедуры, организованные для теле-трансляции, и есть самое настоящее “раскачивание лодки”, о недопустимости которого нам постоянно говорит партия (пока еще) власти и кандидат в президенты Владимир Путин»**.*

Иногда видно, что современный автор играет этой давней формулой (совершенно неизвестной, повторим, юным поколениям), иногда даже помещает ее в кавычки:

*«...Зависимость “фиалки от машинки”, живого от неживого, о неотвратимости которой так долго рассказывали нам литераторы <...>, как-то уже действительно заметна»***.*

*«Во второй половине октября стало окончательно ясно, что все, “о чем так долго говорила” оппозиция, в обозримом будущем не свершится»****.*

Еще интересней такие случаи, когда эту формулу употребляют без какого-то замысла, неосознанно или

* Жванецкий М. Собрание сочинений в пяти томах. Том 4. Десяностые. М., 2007. С. 27.

** Злотин Л. Громила из Нижнего Тагила // Известия. 20 декабря 2011.

*** Пищикова Е. День неперехода // Известия. 1 ноября 2011.

**** Дробницкий Д. Непредставленные // Известия. 19 октября 2012. С. 9.

полуосознанно — будто не в силах освободиться от ее многолетнего гипноза:

«Несколько неожиданным образом вдруг стала сверхактуальной тема изменения Конституции, о необходимости которого ровно год назад писали в гордом одиночестве лишь автор этих строк, да еще Михаил Ходорковский»^{}.*

*«Ясно только одно: Путин ни в коем случае не двинется в направлении тех институциональных реформ, о необходимости которых все говорят уже несколько лет»^{**}.*

*«История предательства Самуцевич. Публикую документы, о необходимости которых мы так долго говорили»^{***}.*

* *Межуев Б.*, политолог. Шкура неубитого «Медведя» // Известия. 25 июля 2012. С. 10.

** *Рогов К.* Итог года: теряющий поддержку Путин не допустил консолидации оппозиции, создав патовую ситуацию // www.liberal.ru/articles/5952.17.12.2012.

*** Блог адвоката Виолетты Волковой на «Эхе Москвы», 18 января 2013.

6. ДЕНЗНАКИ, ДЕНЬГИ И НАЖИВА

Сегодня еще не осознано до конца то разрушение, которому подверглась в течение семидесяти с лишком лет российской жизни многовековая система простейших понятий, связанных с *деньгами* и с *собственностью*. Последствия этого разрушения — в отсутствие активного его преодоления — передаются подросткам по наследству, от бабушки и дедушки...

Даже не на обломках этой системы — нет, на пустом месте, где когда-то лежали обломки, — происходило в начале 90-х в России восстановление института частной собственности. Именно из-за этого особенного контекста оно принимало нередко уродливые формы. Во-первых, потому, что в распоряжении человека оказывались вдруг такие деньги, которых он никогда раньше не держал в руках. А во-вторых — это были не советские бумажки (недаром, подсказал умный человек, назывались они «дензнаки»), а реальные деньги.

На них стало можно что хочешь купить — без многомесячных очередей, номеров в списках (в очереди за машиной стояли по пять-семь лет) и тому подобных советских обычаев.

А то и вовсе — взять да и поехать всей семьей в отпуск в Испанию, о чем раньше и мечтать не могли, по совокупности тех же родных обстоятельств.

В сознании же других все, что связано с этой частной собственностью, заклеено тысячекратным клейменем — в годы их детства, отрочества, юности, зрелости...

С 1947-го года сколько поколений затвердило чеканный стих Маршака — его «Биль-небылицу. Разговор в парадном подъезде»?..

...Капитал
Своей он дочке завещал —
Три миллиона ровно.
На эти деньги лет пятьсот
Прожить без горя и забот
Могла Адель Петровна...

Так как идея вложения денег в отцовское производство не рассматривалась — предполагалось не умножение капитала, а исключительно его *проживание*, — то сама идея богатого наследства приобретала под пером детского поэта нарочитые черты абсурдности: ну кто ж думает пятьсот лет прожить?..

Лучшие перья рифмовали прописи *политической экономики социализма*. Какие звонкие, легко укладываемые в детскую память уроки:

...А дети продали завод,
Затон и пароходы...

— Да что вы, дедушка! Завод
Нельзя продать на рынке,
Завод — не кресло, не комод,
Не шляпа, не ботинки!

— <...> Всё продавали господу:
Дома, леса, усадьбы,
Дороги, рельсы, поезда —
Лишь выгодно продать бы!

Ну не мерзавцы ли? Подумать только — *выгоды* искали!

Разве что не очень понятному, но не осуждаемому во всяком случае безупречным Чеховым Лопухину (герою «Вишневого сада») можно было это с усилием простить. Да и то — разве что по тому случаю, что о красоте не забывает:

«Я весной посеял маку тысячу десятин, и теперь заработал сорок тысяч чистого. А когда мой мак цвел, что это была за картина! Так вот, я говорю, заработал сорок тысяч и, значит, предлагаю тебе займы, потому что могу».

И все равно — сколько юных советских читателей, читая, пожимали плечами: как это — «заработал»? Он же не *работал* на маковом поле сам!

...Купец Багров имел затон
И рыбные заводы.
Гонял до Астрахани он
По Волге пароходы.

Он не ходил, старик Багров,
На этих пароходах,
И не ловил он осетров
В привольных волжских водах.

Его плоты сплавливал народ,
Его баржи тянул народ,
А он *подсчитывал доход*
От всей своей флотилии
И самый крупный пароход
Назвал своей фамилией.

Вот Маршак с детства нам азбучно объяснял: это что ж — работа, что ли, — *доход подсчитывать*? И по праву ли собственный-то пароход назвал своей фамилией?

Сам же *доход* — понятие в советское время вообще сомнительное: недаром в Словаре Ушакова среди многих примеров — «*нетрудовые доходы*».

Крайне интересна жизнь слова «*нажива*» в русском языке минувших столетий.

В Словаре XI—XVII веков *нажив* — это *то, что нажито, приобретено, нажитое имущество*. Здесь же и *нажиток* — к значениям добавляется *прибыль, доход*. Заметим — никакого ухудшительного оттенка еще нет. Правда, среди примеров — некий *торговый немчин*, пускающая в дело не отданный своевременно долг, кредитора *Кузмы животом владеет, промышляет торговым промыслом, себе большие нажитки нажил; а ево учинил бес промыслу*. Но на само слово *нажитки* эти действия пронырливого немчина тени не бросают.

Да и в областных диалектах, по записям середины XIX века, слово *нажив*, *нажива* означало *заработок*, и только. «*Нажива-то плоха стала*», — так говорили и в вологодских, и в архангельских, и в северодвинских, и в олонечских местах. *Наживальщик* означало — *тот, кто зарабатывает, кормилец*, — а отнюдь не что-то плохое.

У Даля в его Словаре *нажива* — это *пожива, барыш, корысть, прибыль*. *Наживное* — *нажитое добро, наживной промысел* — *прибыльный*.

Ведь тогда еще не было ни *политэкономии капитализма*, по которой числилась *прибыль* как наиболее отвратительная часть капитализма (смотри Акаде-

мический словарь 1961 года — «Доход капиталистов, источником которого является прибавочная собственность»; пример здесь из Всеволода Вишневского: «Капиталисты, присваивая себе чужой, не оплаченный ими труд, извлекали из него грандиозные прибыли»), ни *политэкономии социализма* — где при любом производстве эта прибавочная стоимость таинственным образом отсутствовала, а прибыль получалась исключительно «вследствие повышения производительности труда».

То есть — не существовало еще тех предметов, которые впоследствии сдавала на экзаменах в советском вузе (а то осваивала в *университетах марксизма-ленинизма*, через которые прошли десятки, если не сотни, тысяч ныне живущих) большая часть нынешнего взрослого населения страны.

А во времена Даля и в *прибыли*, то есть в *барыше*, никто ничего плохого не видел, наоборот: *Даровой рубль дешев, наживной — дорог*.

И даже предупреждение лентяям, завистникам и вора́м: *От чужих нажитков не наживешь пожитков*.

В России XX века предупреждение, как известно, не сработало. При этом вслед за раскурочиванием «чужих нажитков» *прибыльность* по-новому устроенных, *социалистических*, хозяйств перестала интересовать кого бы то ни было. И писатель Валентин Овечкин в 1952 году в своих на долгие годы ставших знаменитыми очерках «Районные будни» пробует вернуть этот интерес:

«... — Да я бы работал — во как! Кабы знал, что мой труд — хозяйству *в прибыль*»; «Тут-то и начинается *прибыльное* ведение хозяйства».

Кончилось все это в 1960 году пулей автора «Районных будней» себе в висок. После нее он, потеряв один глаз, чудом выжил, но писать уже не смог.

...*Пожиток* — тоже *прибыль, выручка, барыш, выгода, польза, нажиток* (вот сколько было синонимов! Все как метлой смело). Правда, грань тут тонкая (с деньгами у нас в России с давних пор и доныне так): *пожиться* — это уже *добывать чужое, жить на чужой счет*. Бывает — точь-в-точь как нынче — что *Не до поживы* — *быть бы живу*.

Предки понимали возможность *нечестной* наживы: *Как нажито, так и прожито*.

Но в основном-то все же: *Не деньги нас наживали, а мы их нажили*.

Зато в 1938-м «сталинском» году в Толковом словаре Ушакова *нажива* сопровождается уже стилистической пометой «неодобр.» и расшифрована исключительно как легкий доход. Пример — единственный: *Погоня за наживой*.

Через двадцать лет, в «хрущевском» 1958-м, это значение как единственное стабилизирует уже и Академический словарь: *легкий нетрудовой доход; наживание денег, материальных ценностей*. Приводятся соответствующие примеры из Льва Толстого (так карты века легли, что очень он помог большевикам своим морализированием; но вообще тогда многое легло им в масть): «Все эти люди... наживают деньги так, что при наживе заслуживают презрение людей» и Чехова: «Вся жизнь у него в деньгах и в наживе».

И так глубоко все это въелось в сознание выросших в советское время, что даже несколько лет назад, когда в один из районов Горного Алтая приехала семейная

пара — шахтеры, вышедшие на пенсию, — жить и работать в красивые места и показали всем, что могут сделать работающие люди, местный санитарный врач говорил мне с возмущением об этой единственной во всем районе семье преуспевающих фермеров: «Они же о *наживе* думают!»

Когда я пересказала эти слова известному вирусологу академику Н. В. Каверину, он напомнил: «Ведь только в погоне за *наживой нэпманы* в середине 20-х вернули жизнь в разрушенную страну! А вспоминает ли кто о них добром?..»

...Как тут опять не припомнить Булгакова, въехавшего в разоренную, голодную Москву в сентябре 1921 года и наблюдавшего ее несколько месяцев спустя, в апреле 1922-го, с тогдашней «самой высшей точки в центре Москвы» — с крыши бывшего дома Нирензее (он и сегодня висится в Большом Гнездниковском переулке):

«— Москва звучит, кажется, — неуверенно сказал я, наклоняясь над перилами.

— Это — нэп, — ответил мой спутник, придерживая шляпу.

— Брось ты это чертово слово! — ответил я. — *Это вовсе не нэп, это сама жизнь. Москва начинает жить*» (Сорок сороков, 1923. Курсив наш).

Как поступили с нэпом (который Ленин обещал ввести, как уже было упомянуто, «всерьез и надолго»), более или менее известно. И тогда вскоре (и очень надолго) стало уже непонятно, как это деньги, во-первых, могут сами по себе увеличиваться. А во-вторых — зачем вообще стране нужны люди, *наживающие* деньги? Ведь деньги берутся вот откуда — их выдает нам два

раза в месяц государство. Или раз в месяц — в виде пенсии.

«— Вот я, например, выстроил бы всех олигархов — и всех до одного собственноручно бы расстрелял.

— А как же тогда ваша пенсия?

— А причем тут моя пенсия?» (Из пересказанного мне генералом С. Е. Вициным его разговора с незнакомым ветераном).

7. «РУССКИМ ЯЗЫКОМ ВАМ ГОВОРЯТ!»

Мы уже упоминали о поразительном явлении жизни человека — как за первый год постигает он родной (материнский) язык.

А все-таки — что дальше? Когда давно уже кончился нежный возраст? Особенно — после школы?

Как известно, в мире господствует энтропия. Все решительно требует нашего внимания и заботы. То, что оказывается лишенным внимания, заброшенным, — неминуемо приходит в упадок.

Разумеется, язык живет своей жизнью, развивается по внутренним законам. Никто не знает, почему наши прапрадеды говорили «дóмы» и «домá», а потом стали говорить только «дома». Мы давно говорим «учителя» (сохранив, правда, форму «учители» для особых случаев), «трактора» (хотя пока еще можно сказать и «тракторы»). И в конце концов закрепится, судя по всему, форма «инженерá» и «офицерá». Последние рекомендации Института русского языка РАН говорят о том, что уже допустимо ударение дóговор.

Но нам зато оставлена возможность держать оборону до последнего...

Дело общества — то есть всех и каждого — быть, во-первых, внимательным к родной речи, а во-вторых, поддерживать ее эталоны: принятые на сегодня нормы. Они поддерживались когда-то речью дикторов по всесоюзному радио. Было известно, что у них, у дикторов — правильные падежные формы, правильные звуки и ударения. Ходили слухи, что за ошибки в речи их лишают премий и даже вычитают из зарплаты.

Правда, не всякий помнит, что эта забота о падежах и ударениях шла на фоне огромного оскудения публичной речи, произведенного искусственным путем: произошло вымывание множества слов — *милосердие, благотворительность...*

Но сейчас — о дне сегодняшнем. Хочется просто-напросто привлечь внимание всех, кто говорит по-русски, к своему языку — к огромной ценности, доставшейся нам в подарок. К тому главному — и сегодня едва ли не единственному, — что соединяет нас в нацию.

Настойчиво повторяю — сегодня эта связка при полном общественном небрежении, невнимании к ней ржавеет и распадается. Выразимся проще — говоря на одном языке, мы частично теряем возможность друг друга понимать.

Мало кто заметил, думаю, что 2007 год был объявлен годом русского языка. Потому, собственно, не заметили, что ни малейших телодвижений в сторону русского языка, кроме сугубо бюрократических, сделано не было.

Правда, я тогда же выяснила, что у нас существует никому, думаю, кроме узкого круга заинтересованных лиц, неведомый «Центр развития русского языка» (региональный общественный фонд). процитирую то, что он объявляет на главной странице своего сайта как собственную «миссию» (!):

«...задействовать (!) ресурсы русского языка для осуществления результативных преобразований (?) в социально-культурной сфере России и формирования ее позитивного образа в мире».

Трудно как-то себе представить, чтобы такую «миссию» кто-то принял всерьез и вот такой с первого слова демонстрируемый Центром язык помог создать наш *позитивный образ* в мире.

Не хотелось перегружать слушателей цитированием второго пункта «миссии», но, пожалуй, не удержусь:

«...максимальное использование потенциала русского языка как инструмента межкультурного взаимодействия, как средства познания и преобразования русскоязычного мира и человека в нем».

Эк куда их метнуло! *Преобразование человека* — не более не менее... Такой замах комментировать не приходится. Вообще же там, где собираются «*задействовать ресурсы*» родного языка, — хорошего не жди.

Одна из задач Центра русского языка сформулирована так:

«...координация усилий заинтересованных лиц и организаций в повышении статуса русского языка как *инструмента* культурной и образовательной *политики* России».

Язык, как видим, — *инструмент политики*. Но дело-то в том, что язык такого «чисто-конкретно» инструментального обращения с собой не любит. Вообще ежится, когда его *статус* берутся повышать.

Эти грустные фрагменты официозной речи привожу с одной целью — показать, как не надо поступать с родным языком.

Сегодня можно услышать из начальственных уст: «Почему это наш язык нынче за рубежом мало изучают?».

Но сначала надо нам себя спросить — а что, собственно, они (тамошние) должны изучать?

Стоит ли запрягать телегу впереди лошади? Может, сначала следовало бы внимательно посмотреть на жизнь языка *внутри* наших российских рубежей?

...В тот год я решила провести в разных школах и некоторых университетах России такой не совсем обычный конкурс. Назвала его — «Русским языком вам говорят!».

Очень долго составляла вопросы. Получилось числом 26.

Первый раздел я составляла из карточек, на которые лет 15—20 заносила то, что назвала когда-то «депутатским языком».

Многие помнят дни, когда политики заговорили с телеэкрана без бумажки. Сейчас уже трудно этому поверить, но народными депутатами — действительно выбранными народом — были тогда известнейшие ученые: Андрей Дмитриевич Сахаров, Сергей Сергеевич Аверинцев, Вячеслав Всеволодович Иванов и немало других высокообразованных или даже просто образованных, но прекрасно владеющих русской речью людей — как владел ею, например, Василий Илларионович Селюнин, член фракции «Выбор России» в первой нашей Думе 1993 года... Помню одну его статью про занесшегося в своих амбициях генерала — по совместительству политика, — претендующего диктовать миру свою волю. Селюнин напоминал генералу:

«...Не весь мир в его кабинете уместился — осталось кое-что и по закрайкам»...

Но были и совсем-совсем другие, постепенно вытеснившие этих высоколобых. Вот они-то, настырно повторяя с экрана «самый оптимальный», «наиболее оптимальный», переучили постепенно всю страну, и теперь — прислушайтесь — почти все уже так говорят, даже довольно образованные люди*. Даже медики, изучавшие в институте латынь и прекрасно знающие, что «оптимус» — это и есть «наилучший»!

Вот я и давала в первом же разделе материалов конкурса эти в разные годы зафиксированные мною выражения из серии «нарочно не придумаешь» («Наиболее оптимальным образом...» и так далее, 13 примеров) с заданием такого рода:

«Если вы найдете в этих фразах известных российских политических деятелей конца XX — начала XXI века (депутатов, членов правительства и т. п.), а также передающих их речь тележурналистов *ошибки* — дайте свой, правильный вариант».

А в следующем разделе давались появившиеся за те же 10—15 лет в нашей речи иноязычные слова, и надо

* Не только говорят, но, к сожалению, и пишут: «Отметим, что эта смена идей, как и другие перемены в общественном сознании, *наиболее оптимальным образом* улавливается, удерживается именно в содержании электронных речевых материалов Интернета...» (Жданова О. П. Толерантность и виртуальная речевая среда // Философские и лингвокультурологические проблемы толерантности: Коллективная монография. Екатеринбург, 2003. С. 286. Курсив наш. Автор — кандидат филологических наук).

было их «перевести на русский» (если это возможно без ущерба для смысла) и ответить еще на некоторые вопросы. И один из ста с лишком барнаульских школьников, одиннадцатиклассник, написал, что харизма — это «забойность». Многие, кому потом демонстрировала, приходили в восторг от такого чувства родного языка.

В этой 55-й барнаульской школе в конкурсе старшеклассников решились принять участие (я приглашала всех, кто захочет проверить свои силы) человек десять рискованных и отчаянных пятиклассников и шестиклассников.

Пятиклассница Юля Алексеева расщелкала подавляющее большинство этих корявых депутатских речей как орехи: «определиться вот о чем», «об этом было подчеркнуто», «решить о повышении пенсий», «проинформировать в том, что», «более очевидней»... Все-все она переписала по-русски. А как — пусть это останется нашим с ней секретом.

Но в Юле была своя загадка. Один из разделов у меня назывался «Не одно и то же»:

«В каком случае вы скажете: я в шоке, а в каком — я шокирован (это меня шокировало)».

Я от пятиклассниц ответа на этот вопрос вообще не ждала, потому что сегодня, когда все смешалось в доме Обломовых (это укоренившееся искажение цитаты мне нравится и я его использую — как проявление поэтики абсурда), и в пять раз их постарше люди, да и с двумя высшими, то и дело именно что *шокируют* своей причудливой речью. Но Юля написала, что пер-

вый случай — это «удивительно-неожиданно», а второй — «восхитительно-неожиданно». Может, тут что-то есть? Какой-то местный, сибирский извод?..

Но вообще-то подростков взрослые так запутали, давно пребывая «в шоке» от всего решительно на свете, что мало где в моих путешествиях последних лет на машине по бескрайней России встречался мне внятный, не шокирующий ответ. А когда-то, давно-давно, в 70-е, скажем, годы прошлого века, употребляли эти сильные выражения только те, кто их понимали.

Когда же предложено было просклонять в единственном и множественном числе давно уже не иностранное слово *туфли*, расставив при этом ударение, не раз выпало прочитать твердой девичьей рукой написанное — «Единственного числа слова “туфли” не существует». Это было для меня, честно говоря, открытием. Не одна ведь и не две девицы ответили таким образом. А туфли-то они все-таки еще носят, не полностью перешли на угги, сапоги и кроссовки.

(Заметили, кстати, как на наших глазах слово «откровение», годное только для специфических, казалось бы, ситуаций, полностью вытеснило слово «открытие»?.. — «Оказывается, такую-то вещь можно купить там-то! Для меня это было *откровением!*...».)

...Удивительны все-таки наши отношения с родным языком!

Поделюсь наблюдением без объяснения (его у меня нет): пятнадцати-шестнадцатилетние юноши обычно знают правильное единственное число от злосчастных *туфель* — и, заметьте, с правильным ударением. А барышни, если уж верят в существование единственного числа этого слова, предпочитают — *туфель*. И даже —

туфль. Если же все-таки *туфля* — то уж ударение выставят непременно на последнем слоге. Буду благодарна, если кто-нибудь проведет блиц-опрос среди знакомых разнополых подростков и любезно сообщит о результатах. Хочу понять, от чего тут больше зависимость — от пола, климата или меридиана?

8. «БРАТСКАЯ ПОМОЩЬ» И «КЛАССОВЫЙ ВРАГ»

24-й раздел моего вопросника по конкурсу «Русским языком вам говорят!» был такой:

«Встречали ли вы эти слова, активно употреблявшиеся в советском прошлом? Могли бы кратко пояснить их значение? Если не можете — не бойтесь так и написать: это не будет считаться ошибкой, вы имеете право этого не знать».

И если десятилетние барышни из одного из сибирских сел про весь список советизмов сказать почти ничего не могли, меня это только порадовало: *антисоветская агитация* — «не знаю», а *спекулянт* — «не помню». Хотелось бы, чтоб им и не напомнили. Но это скорей мои эмоции — мы ведь знаем, что в книгах столь долгого советского времени им будут встречаться эти слова и выражения и, в сущности, им надо бы знать их значения — как значения любых слов, рядом с которыми в толковых словарях помета «устар.».

И когда у одиннадцатиклассника Игоря Пономарева, не скрою, с легкой душой читала я такие ответы: «*буржуазный предрассудок* — не знаю», «*классовый враг* — не знаю», «*социалистическое обязательство* — не знаю», то размышляла и об этом тоже.

«*Красный уголок*» — «там, где стоят иконы»: советское идеально ушло под досоветский (или, скорее, послесоветский) *красный угол* (из него в свое время и появилось на свет — чтобы его вытеснить). Тут вообще есть над чем подумать — начавшийся после августа 1991 года процесс еще не закончен (к тому же искусственно притормаживается).

...А «*братская помощь, братские партии*» — это «Когда все дружно помогают друг другу в беде»...

В Якутске школьники пошли в этих случаях напропалую от буквальных значений — «*Социалистическое обязательство* — обязательство, которое человек обязан выполнить перед социализмом». А *классовый враг* попал там в такое рассуждение: «не встречала; в моем понимании — не человек, а пагубное обстоятельство, вредное для людей (например, алкоголизм)».

А «*красный уголок*» — там, в Якутии, это, господа, «уголок живой природы». А что? Или — «уголок вещей, которых очень мало». Или же — «например, *красный уголок в избе* — укромное, наиболее уютное место». Или — «то место, где нельзя мусорить», «угол, в котором находится все самое важное и ценное», «уголок в комнате, где находится главное»; «угол памяти умерших».

Но встретился, правда, и «уголок советской пропаганды, символики», и «место, отведенное агитации коммунизма, патриотизма и прочего, присущего советской власти».

Для якутской семиклассницы Маши Барабановой это — «уголок, который совместными усилиями сделали рабочие, ученики и т. п.». Сказочное такое место всеобщей любви и дружбы.

Братская помощь, братские партии. Ответ — «состояние в секте». Что-то тут есть. «Бесплатная помощь». Теплее.

Буржуазный предрассудок — «некрасивый поступок». Тело, значит, в наследственной советской памяти что-то связанное с этим плохое. *Отказник* — «отказывает везде и всем». *Невыездной* — «человек, давший подписку о невыезде».

Космополитизм — «много монополий», «политика, связанная с космическими открытиями».

...Вот и славно, как говаривал профессор Стравинский. «О, не знай сих страшных снов / Ты, моя Светлана».

Но неожиданно (в этом-то и интерес такого конкурса!) читаешь такое рассуждение о советизмах у одной якутской барышни:

«Классовый враг — когда врагом является не один человек, а целый класс (напр., буржуазия, аристократия). *Космополитизм* — явление, когда человек не испытывает дискомфорта, живя в другой стране, “человек мира”. *Невыездной* — человек, которому отказано в выезде в капиталистические (иногда и в коммунистические) страны».

И не скажешь, что родилась Алена Соколова в год конца советской власти.

Окаменевшие волны когда-то опасного для жизни и свободы языка.

Самое интересное — следить за тем, как грозным советским эвфемизмам, испакощенным, «заточенным», как сегодня выражаются, на специально советское значение словам возвращается почти детскими руками их буквальный смысл. *«Высшая мера социальной защиты* — не встречала; возможно, наилучшая защита от притеснений, несоблюдения законов», «страховка», «защитание человека телохранителями, милицией и т. п.», «самая лучшая защита общества»; «люди принимают хоть какие-то меры, чтобы вас защитить».

У очень немногих проступило давнее, удаленное от них прошлое (не семейная ли память?): «Самая страш-

ная мера защиты социальной группы» или «расстрел» (Куннэйэ Харитонова из Якутска).

«*Спекулянт* — бандит советского прошлого» — опять Маша Барабанова из Якутска, имеющая вкус к размышлению над словом. А ее землячки, шестиклассницы и десятиклассницы, так аттестуют «спекулянта» — «человек, который тебя игнорирует», «который делает все, чтобы не работать».

Нехороший такой человек. И еще — «зачинщик». А в Горном улусе — вообще «пьющий человек».

К филфаку Якутского университета — счет другой, чем к школьникам. Надо бы знать язык распавшейся цивилизации — изучать ее так, как изучают завершившуюся культуру. Когда на филфаке *красный уголок* трактуют как «место пребывания большевиков» — это уже инфантилизм (и то и дело возникает у юных филологов знакомый по школам Алтайского края «живой уголок», заставляя и меня самое колебаться — может, это я уже чего-то недопонимаю?..).

Приятно поражают определения, за которыми встает довольно стройная система воззрений на советское прошлое, чем не могут похвастаться сегодняшние авторы учебников истории. Да, пожалуй, и на современность такая барышня глядит трезвее многих поживших на свете мужчин:

«Антисоветская агитация — любая агитация, не соответствующая политике государства, партии. Классовый враг: враг — это почти любой, ведущий отличный от общепринятого образ жизни. Красный уголок — место, посвященное Ленину, партии, Октябрю. Невыездной — по политическим

причинам запретили выезжать за границу. *Спекулянт* — человек, перепродававший товары с наценкой».

Здесь, как видим, само прошедшее время причастия (*перепродававший*) ясно говорит о понимании того, что это — дела давно минувших дней.

А в другой студенческой же работе видно как раз сегодняшнее время, в котором это слово стало анахронизмом: «спекулянт — частный предприниматель, коммерсант, как мы называем их сейчас». Смена эпох уложилась в несколько слов дефиниции.

...Вообще за полтора-два года поездок на машине по городам и весям России с письменным конкурсом собрался громадный материал, иллюстрирующий состояние родного языка в сознании подростков и молодежи «нулевых» (умеет народ припечатать!) годов: письменные ответы на вопросы по русскому языку школьников и студентов Ачинска, Барнаула, Бийска, Гатчины, Красноярска, Томска, поселка Чемал в Республике Алтай, Якутска...

9. В ПЛАНЕ МОЧИТЬ В СОРТИРЕ

Вердикта о преступном советском режиме вынесено не было. Потому словесные объедки со стола завершившейся цивилизации убраны неряшливо.

И именно поэтому, повторю, в первые постсоветские годы советизмы сменились стёбом и матом (как раз тогда, когда «школьную» классику в массовом порядке вытеснял самый дешёвый детектив) — поскольку третьего было не дано, его еще предстояло выработать.

Итак, яростное наступление и полная победа блатного жаргона; задержимся на нем еще немного.

Впервые, насколько могу судить по личным наблюдениям, изобразил — именно изобразил — наступление этого жаргона В. Пьецух в рассказе 1989 года «Анамнез и Эпикриз». (Это имена двух котов, которых купили для своей двенадцатой палаты больные у сантехника.) В палате лежат разные люди — милиционер, грузчик из мебельного магазина, мелкий профсоюзный работник, сам рассказчик, слесарь-наладчик с завода «Манометр» и профессиональный вор Эдуард Маско. О нем у нас и речь.

«...Невзрачный мужичок лет тридцати пяти с брезгливым выражением на лице... он носил шелковый домашний халат с китайским иероглифом на спине и читал исключительно детективы, которых у него была целая походная библиотека, но говорил таким путаным уродливым языком, точно он перенес insult».

Любимое выражение (в литературу тогда во всяком случае попавшее впервые) — «в плане».

Даже читает книги.

«— Ну, волки позорные! — иногда заорет Маско на самом затейливом месте.

В таком случае кто-нибудь его спросит:

— Ты чего это неистовствуешь, Эдуард?

— Да вот у этого... как его... ..менты ихние... в плане, делового одного прихватили на ровном месте. Ему бы, дураку, это... временно затаиться, а он, бес такой, на рожон! Его и взяли за суету! Ну, повсеместно свирепствуют менты, хоть ты эпоха застоя, хоть ты это... капитализм.

Милицонер Золкин непременно на это скажет:

— Мало вас, гадов, дают! Моя бы власть, я бы всю вашу шоблу сгноил на урановых рудниках!

А Маско в ответ:

— Это ты умоешься, мент позорный!»

«— Ну... это... все! — грозно сказал Маско. — В плане терпение мое лопнуло! Щас я буду тебя мочить!»

Прошло всего лишь лет пятнадцать — и блатное «будем мочить в сортире» зазвучало с самой высокой в российском государстве трибуны.

Но российские подростки, представьте себе, этого не приняли. И на вопрос в моем письменном конкурсе: «в какой ситуации вы употребили бы эти выражения (куда включено было и «мочить в сортире») — в разговоре с друзьями, с учителем, с родителями, с посторонними?» — подавляющее большинство отвечало: «их не надо употреблять ни в какой ситуации». А двое написали насмешливо: «В выступлении по телевидению». Дали знать, что поняли меня.

10. «РАССТРЕЛ ПАРЛАМЕНТА» ГЛАЗАМИ ПОДРОСТКОВ

Один из признаков языкового неблагополучия — безвольное, не контролируемое обществом проникновение *профессиональных жаргонов* в общий литературный язык.

А как относятся к этому явлению подростки, то есть школьники? Результаты моей проверки были очень утешительные.

Мой вопрос в письменном конкурсе:

«Можно ли употреблять в журналистской речи без кавычек или какого-либо иного способа дистанцирования слова военного жаргона — *зачистка, зеленка*. Почему?»

Коротко и внятно ответила про *зачистку* тринадцатилетняя алтайка Гита из поселка Чемал — «звучит неприятно». Почувствовала, что про людей, кем бы они ни были, про их мозги, размазанные после *зачистки* по стене, нельзя говорить так запросто — не в боевой обстановке с ее особым обиходом, а с общего для всех телеэкрана.

И одиннадцатиклассница (исправившая шесть «депутатских» фраз из тринадцати — немало для девицы из села на краю России, близ границы с Китаем и Монголией; и не одна она такая в Чемальской школе) про оба слова выразилась определенно: «Жаргон вообще неуместен в газетах».

Был у меня и еще более серьезный вопрос:

«Считаете ли вы правильным (с точки зрения русского языка) использование слова “расстрел” в часто встреча-

ющемся в современной журналистике, а также в интернетовских дискуссиях выражении “расстрел парламента” применительно к событиям в Москве 3—4 октября 1993 года? Поясните то или другое свое мнение».

Восьмиклассники из Чемала:

«Нет. Я так не считаю. Потому что в эти годы был переворот. А слово “расстрел” там неприемлемо»; «...Неправильно использовать такое слово в переносном значении, потому что можно найти более подходящие слова».

Денис Шакин написал с взрослой мужской определенностью:

«Если сказал расстрел, должен доказать, что так оно и есть. Я думаю, неправильно».

В Якутске Маша Барабанова:

«...Невозможно расстрелять весь парламент»*.

Вот оно, ответственное отношение к языку.

И множество школьников — от села Чемал до Якутска и Томска — всерьез рефлексировали над словом «расстрел» в отличие от взрослых дядей-журналистов. Многие предлагали «обстрел» вместо «расстрела»:

* И грустно было мне прочитать в одной из книг многоуважаемого Л. Айзермана: «...И в конечном итоге в первых числах октября 1993 года наступила кровавая развязка, *расстрел парламента*» (Айзерман Л. Сочинения о жизни и жизнь в сочинениях. М., 2012. С. 103—104. Курсив мой).

«Более правильным было бы использовать выражение «обстрел здания парламента»; «...Это не всегда правильно. Например, можно сказать “стрельба по зданию парламента”, обстрел Парламента. А слово “расстрел”, по моему мнению, более приемлемо к живым существам»; девятиклассница из якутского села Тулагино: «Я считаю это неправильным, потому что это очень страшно».

Не успело притупиться чувство родного языка, представление о гибели живых существ, встающее за словом...

Из самых последних впечатлений от размывания границы между профессиональным жаргоном и литературным языком. В Москве проходил конкурс концепций развития одного из очень известных московских музеев. Задание, на каждый из пунктов которого участники конкурса должны были дать свой ответ, составлял один из московских институтов, занятый исключительно социокультурными проблемами. Один из пунктов был сформулирован так: «Содержательный посыл Музея целевой аудитории».

Но человек, внимательно относящийся к языку, не может работать над заданием, сформулированным, так сказать, «не по-русски»! *Посыл* как в 17-томном академическом, так и в новейшем однотомном словаре Ожегова-Шведовой имеет помету «спец.». Это слово — из профессионального языка людей спорта и театра. И реагировать человеку, небезразличному к родному языку, на этот «*посыл*» оказалось возможным, лишь заменив его на «*послание*».

11. КУДА ДЕЛИСЬ «ДЕЛИКАТНЫЕ» И «ВЕЛИКОДУШНЫЕ»?

Вдумчивый филолог О. П. Ермакова выпустила книжку «Краткий толковый словарь ушедших и уходящих слов и значений» (Калуга, 2008). Исчезнувшие слова: *авиатор, богадельня, вагоновожатый, извозчик, курсистка, мороженщик, промокашка, чернильница, чистописание...* Понятно, когда слово исчезло вместе с профессией (*извозчик*) или с самим предметом (*чернильница*). Но Ольга Павловна предложила калужским студентам всех пяти курсов своего филологического факультета заполнить анкету: какие слова вы используете для положительной оценки какого-то лица и какие — для отрицательной?

«Надо сказать, — пишет она, — что списки положительных и отрицательных характеристик у студентов разных курсов в основном мало различались».

То есть молодежь «нулевых лет» — от 16-ти до 22-х — в речевом отношении представляет сегодня более или менее однородную массу.

Итак, результаты:

«В положительных оценках были, как правило, слова: *умный, добрый, много знает, нежадный, с чувством юмора, общительный* и др. Но ни в одной анкете не было: *деликатный, тактичный, благородный, великодушный, галантный*».

Ни в одной! Вот что важно. (Впрочем, читая в содержательной статье Ирины Левонтиной «Шум словаря»

о том, что «с появлением на нашем телевидении рекламы иностранных стиральных машин мы только и слышим про *деликатную стирку*», — подумала: не потому ли, что *деликатная* теперь стирка, а не люди?.. К этому слову мы еще вернемся.)

«А для отрицательной оценки человека — и тоже ни в одной анкете на все пять курсов института! — не оказалось слов: *бесцеремонный, бестактный, пустой, завистливый, неблагородный...*».

О. Ермакова констатирует:

«Разнообразие оценок, в том числе отрицательных, в настоящее время нередко уступает место грубой характеристике *придурак* (или *дебил*), которая включает в себя все то, что может быть выражено словами *дурак, нахал, хам, неумельный, несообразительный, неудачник* и т. д.».

То есть — активный языковой запас сжимается, как шагреновая кожа. Слова, еще недавно, кажется, бывшие в ходу, теперь, похоже, уверенно движутся в направлении *пассивного языкового запаса*.

Так ли это? И еще большой вопрос (в последние пять-шесть лет я стремлюсь найти ответ на оба вопроса в своих блиц-викторинах среди школьников России) — уцелело ли в сознании этой возрастной части нации само *значение* этих слов?

Спешу обнадежить учителей — со школьниками дело обстоит неплохо. Например — в письменных ответах все давали разные значения слова «*взбалмошная*». И набралось их по разным школам России — 61! Активная,

внезапная, баловная, бесконтрольная, бескультурная, беспокойная, легко раздражающаяся, быстрая, веселая, ветреная, вечно в беспорядке, взбудораженная, взволнованная, взъерошенная, вредная, выскочка, глупая, дерзкая, дикая, дурашливая, дурная, егоза...

А к слову «*галантный*» дали тоже неплохие синонимы: вежливый, внимательный, воспитанный, аккуратный, деликатный, знающий этикет и умеющий ухаживать, изысканный, культурный, обходительный, представительный, элегантный...

Повторю — сегодня главная наша обязанность по отношению к родному языку — это ПРИВЛЕЧЬ К НЕМУ ВНИМАНИЕ ОБЩЕСТВА. И естественно начать со школы.

Вот тема для пятиминутки на уроке русского языка (в любом классе!) — значение хотя бы таких двух слов: *галантный* и *вальяжный*. Так и пояснить предварительно: употребляете ли вы эти слова или нет, но знать их значение нужно.

...Не могу достаточно выразительно передать, с каким жаром обсуждали школьники одной из школ Новосибирска (как выяснилось из разговора с учителями, *никогда* этим не занимавшиеся) значение слов! Я звала напоследок к доске тех, кто может определить значение признака *вальяжный* одним словом...

Высыпало человек двадцать — каждый выкрикивал свое слово. Среди них были и хорошие ученики, и средние. Еще раз подтвердилось мое давнее убеждение — *родной язык волнует всех*. И во время обсуждения выясняются оттенки, над которыми вы и сами не задумывались: так, в шумной дискуссии со школьниками Новосибирска, а затем (на машине ехала через Урал) Оренбурга уяснилось нам всем, что эпитет *галантный*

применим только к мужчине. И когда кто-то про «вальжный» выкрикнул — «Толстый!», тут-то и обнаружилось кое-что, ранее не замеченное: действительно ведь невозможно сказать по-русски «вошел худенький вальжный мужчина»...

...Зато на письменном конкурсе у студентов Заочного финансового университета (филиал московской Финансовой академии) в Барнауле меня ждали сильные впечатления, заставившие всерьез кое о чем задуматься.

Оказалось, что *ни один* из 19 студентов не знает значения слов *невежа* и *невежда*.

Невежа — это у них в Заочном значит «неряха», а *невежда* — «неопрятный».

Подумалось грешным делом: ну, они ж финансисты — у них, наверно, с английскими заимствованиями полный порядок.

...Насчет *истеблишмента* студенты оказались практически единодушны — *американский полицейский*, просто *полицейский* и *полицейский в Лондоне*.

Тут-то и увидела я почти воочию, как расползается национальная связка.

Вот, представьте себе, сидят за столом десять русских (то есть с русским родным языком) людей разного возраста. Ведут неторопливую беседу на не совсем заземленную тему — не где что купить, выпить и закусить, а несколькими делениями выше, поотвлеченнее. И кое-кто употребляет простые русские слова *невежа* и *невежда*. А кто-то небрежно обронивает нечто насчет *истеблишмента*. И всем кажется, что они друг друга прекрасно понимают, — все по-русски ведь говорят!

Ан давно уже нет.

12. ТИПА, ОТСТОЙ МЕНЯ НАПРЯГАЕТ

Итак, вырисовывается следующая гипотеза (пока — гипотеза!). Так называемый пассивный языковой запас («не употребляю, но понимаю») удерживается в памяти в основном до конца школы. А затем значение хранящихся в нем слов начинает стремительно выгорать. Потому что школа оказывается сегодня едва ли не единственной общественной средой, где подросток все время (отнюдь не только на уроках литературы) находится в ауре русской литературной речи — то есть по крайней мере все время ее слышит. За исключением исключений, все учителя-предметники — преподаватели физики, химии, биологии — привычно следят за своей речью, стараются говорить «правильно» и к тому же (опять-таки в общем случае) не впускают в свои нередкие инвективы вульгаризмов.

Школьники слышат литературную речь не только на уроках — на переменах, после уроков, на всяких школьных «мероприятиях». Мелькают в этой речи и пресловутые «невежа» и «невежда», а может, и символическое в России (доводившее до белого каления депутатов Верховного совета) гайдаровское «отнюдь»: очень многие участники конкурса продемонстрировали знание его значения (не Гайдар ли, кстати сказать, и выучил?..) — в отличие от слова «окоём»... А после школы, как можно было заключить по ответам барнаульских студентов — будущих финансистов про «невежу» и «неряху», этих слов к ним никто уж и не обращает. Полагают, видно, что шпынять их насчет невежливости и невежества ну никакого нет смысла.

Контекст литературной речи в классах и коридорах школы помогает сохранить на какое-то время живое ощущение тонкостей родного языка — примеров этого немало в работах конкурсантов, причем у шестиклассников, пожалуй, больше, чем у старшекласников.

Ничуть не хочу сказать, что в коридорах современной школы царит языковая гармония. Разрыв поколений русскоговорящих нарастает — там, где не учат наизусть Грибоедова и Крылова и непонятым становится услышанное от кого-то «А вы, друзья, как ни садитесь...», и сотни других летучих строк, еще недавно общеизвестных. Учителя не могут привыкнуть и к стертости стилистических регистров: десятиклассник спокойно в разговоре с учителем употребляет слово «м...к» — и затем искренне удивляется на замечание: он же не хотел сказать ничего плохого!

И все-таки.

После школы наше юношество сразу обрубаёт связи с языковой средой образованных людей — родители с их хоть трижды литературной речью, транслируемой главным образом в жанре нотаций, им давно не указ. И недавние выпускники школы замыкаются в молодежном анклаве — в среде, говорящей на собственном, можно сказать, диалекте. Профессура же, как стало мне казаться после изучения работ студентов, сосредоточена на своем предмете: прочитал «Банковское дело» — и вон из аудитории. А удостовериться, знает ли студент значение слов, прозвучавших непосредственно в лекции, не входит в должностные обязанности лектора.

И нередко в повседневном молодежном словаре оказывается даже меньше слов, чем в словаре небезызвестной людоедки Элочки: *крыша, наезд, разборка, гонишь,*

не грузи меня, отстегнуть, распили, откат (эти слова переходят и во взрослый — чиновничий — словарь), *не догоняю, короче, отстой, задолбал, типа, крутой, реальный, конкретные пацаны, это меня напрягает...*

Поясню — свой язык у школяров, «студиозусов», новобранцев, вообще у молодого поколения был всегда и везде. Вопрос совсем в другом — владеют ли они помимо него общим литературным языком?..

...Это, конечно, только гипотеза, нуждающаяся в проверке. Но можно утверждать, во всяком случае, что в достаточно широкой молодежной среде съезживается активный словарный запас, концентрируясь вокруг сленга, а вслед за ним начинает таять (становиться непонятым) и пассивный.

* * *

Кстати — про «напрягает».

Вскоре после того, как я привела на этих страницах молодежный словарь, закончив его словом «напрягает», — попались мне на глаза два газетных интервью. Одно — пока еще знаменитой «Светы из Иванова» (прославил ее как раз язык — «Мы стали более лучше одеваться»), уже в роли ведущей на канале НТВ поясняющей (довольно туманно):

«Меня всегда *напрягало*, почему люди ревут, что зарплаты маленькие. А ты посмотри на пробки, которые у нас в Москве...».

Ну ладно — Света из Иванова. Но в той же газете — интервью молодого человека (выпускника, кстати ска-

зять, Литературного института, где я преподаю), только что победившего во всероссийском конкурсе «Учитель года — 2012»:

«...Школа очень централизована. Не все от тебя зависит. Это государственный институт. Бумажная волокита напрягает». И далее — «Я попросил на углубленке по физике детей назвать трех современных физиков... Не смогли назвать».

...Может, «углубленка» в данной школе и не заслуживает иного именованя. Но все-таки.

Правда, учитель полагает, что «границы школьные подвижны и могут быть игровые ситуации, когда мы равны», что «необязательно ставить железную стенку», «иногда сажусь на стол, и новых учеников это немного шокирует. Я ругаю за это себя и хочу отучиться. Но образ учителя должен соответствовать времени».

Что до меня — то сесть молодому учителю в какой-то момент на стол мне представляется, пожалуй, естественным. А «напрягает» и «углубленка» — *напрягает*.

Заподозрив себя в ригоризме, опросила нескольких родителей школьников, причем отнюдь не профессуру, вполне простецких мужчин, — допустимы ли, по их мнению, в речи учителя такие слова. Отвечали решительно — «нет»! Мотивировка — «Где-то дети должны же слышать правильную речь!».

13. НАВАЛИЛИ САЛАТУ И НАБУХАЛИ САХАРУ

Коснусь темы, не совсем привычной.

Толерантность стала модным трендом (употребляю это слово лишь затем, чтоб сказать — считаю это активно втаскиваемое в нашу речь заимствование избыточным: имеются давно укорененные в языке эквиваленты). Создаются даже разделы библиотечной работы (видела интересные примеры в Восточной Сибири), вводятся дополнительные школьные курсы.

Но начинать обучение толерантности нужно на уроках русского языка — обучать *выбору нужных форм бытовой, повседневной речи*. Этим, конечно, надо бы заниматься в семье. Однако сегодня во многих семьях даже не поймут, чего именно от них хотят. Поэтому предлагаю уделять внимание этой проблеме школьному учителю (хотя времени на все про все ему сегодня выделено с гулькин нос).

Показать для начала бессмысленность широкого употребления в нашем обиходе слов — *все, всегда, никогда и вечно*. Они годятся лишь для редких, специфических случаев — вроде того, что солнце всегда восходит на востоке и никогда на западе.

Приведем несколько всем хорошо знакомых фраз:

— Ты *никогда* меня не слушаешь! Ты вообще *всегда* всех перебиваешь!

— *Все* богатые — воры! *Все* чиновники — взяточники!

— От тебя *никогда* *ничего* не добьешься!

— Ты *вечно* *все* разбрасываешь!

Здесь все ясно даже без комментариев.

Как известно, толерантность — это терпимость, терпеливое отношение к отличиям других людей от

нас, к их недостаткам, к их не очень приятным для нас поступкам. Никто не будет спорить — у нас такого явная нехватка.

Очевидно, что в обществе неуклонно растет агрессивность — она уже в самом воздухе, ею переполнен интернет. (Свежий личный пример: только что попался на глаза отзыв «читающей барышни» — readinggirl — на мои книжки «Не для взрослых». Не понравились — почему бы и нет; но дальше так: «Мне бы она (я) вчера попала под руку — я бы ее вообще убила!». За что, бедная барышня?.. Книжки же мои пусть плохие, но безобидные.)

Чтобы понять, откуда эта агрессия берется, прислушаемся к нашим разговорам друг с другом — с близкими, в первую очередь с детьми.

Лингвист Марина Гловинская демонстрирует в одной из своих статей (в сборнике, посвященном толерантности) на многих примерах широко (если не повсеместно) распространенную в нашем быту привычку автоматически выбирать для повседневного общения (вне ситуации скандала!) слова грубые, вульгарные, направленные (как правило, полуосознанно, а то и совсем неосознанно) на то, чтобы задеть собеседника. В каждой фразе собеседник привычно аттестуется как кто-то враждебный, нацеленный на то, чтобы сознательно производить действия, неприятные другому.

- Куда ты тащишь стул?
- Наташили грязь.
- Не путайся под ногами!
- Кто навалил здесь свои вещи?
- Куда загнали мой рюкзак?
- Чья книга валяется на столе?

- Куда ты засунул мой паспорт?
- Что ты *таскаешь* меня все время по магазинам?
- Вы вообще *влезли* без очереди.
- Что ты *навалила* мне столько салату?
- Ты *набухала* столько сахара, что пить невозможно*.

Так и хочется воскликнуть: «Как же мы, русские (русскоговорящие), любим экспрессию!» Или, как говорили в старину, — *этакая бы страсть да к ночи.*

...Приведу и свои примеры — они у всех у нас под рукой:

- *Вечно ты отлыниваешь* от мытья посуды!
- А ты *вечно придумываешь* мне дела, когда я собралась уходить!
- Тебе *нравится выводить* меня из себя!

А ведь разговор может (теоретически говоря!) строиться совсем иначе — щадяще, дружелюбно, а не враждебно. Ведь нередко — это самые близкие ваши люди. Или просто *близкие* — те, кому не положено желать зла.

Вот так, например:

- Не помнишь, куда ты положил мой паспорт?
- По-моему, твоя книга тут не совсем на месте.
- Салата для меня многовато.
- Вы встали без очереди...
- Не успею, к сожалению, это сделать — выхожу!

Язык фиксирует общую привычную агрессивность, почти враждебность.

Обратите внимание, как активно используется упомянутое ранее слово *вечно*...

* Гловинская М. Постулат искренности vs постулат толерантности и их производные в разных культурных и языковых моделях поведения // Философские и лингвокультурологические проблемы толерантности: Коллективная монография. Екатеринбург, 2003. С. 363—366.

В одном из номеров журнала «Семья и школа» напечатаны были выдержки из писем Е. Л. Шварца взрослой дочери — он учил ее азам семейной жизни:

«Никогда, никогда не обижай тех, кого любишь, как бы тебе ни чудилось, что ты права. Владей собой! Умоляю!»

«Не ворчи, не скрипи, не ссорься, чтобы не было чувства, что в квартире не в порядке канализация».

14. ЛОНДОН ЩЕПЕТИЛЬНЫЙ

То, что сегодня многих словесников трогает едва ли не больше всего — как быть с потоком иноязычной лексики, просто заливающим речевое пространство? Действительно — мы, похоже, уже захлебываемся в окружающих нас словах, значение которых очень многим непонятно.

Человек идет по улицам родного города — и его обступают либо вывески с невнятными словами, либо такие, где хоть и по-русски, но тем не менее ни в какие ворота не лезет — «*Мир дверей*», например.

...Напомню известное словесникам — в XVI веке быстро развивавшаяся в Москве переводная литература (с латинского, немецкого и польского) несла с собой заимствования — тем более, что переводчики-то были нередко иноземцы. Но прикладывались списки непонятных слов. В XVII веке переводы с латинского — общеевропейского языка науки — уже воздействуют заметней, начиная с Киева и до московских земель. Появляются слова *персона*, *оказия* (в значении — *случай*). На Юго-Западе уже проделана кое-какая работа по освоению латинской философской терминологии, появляются кальки — *действие* (*actus*), *страсть* (*affection*), *сложение* (*composito*), *противоречие*, *целое*, *существо* (*substantia*), а затем и *сущность*.

В математике, астрономии, военном деле латынь практически входит в собственном своем обличье: *вертикальный*, *циркуль*, *нумерация*; *глобус*, *минута*, *градус*; *дистанция*, *фортеция*... Она же — в административных делах, к которым в России проявили повышенное даже рвение: *инструкция*, *церемония*, *фамилия*, *форма*...

Буквальные переводы французских слов входили в состав языка в настоящей борьбе, под градом насмешек. Сегодня мало кто помнит, что второе значение глагола *трогать* — перевод франц. *toucher*, с двумя его значениями. Русский глагол не имел этого второго значения — *тронуть* как *задеть за живое, разтрогать*. (Было, правда, у нас еще одно значение, но совсем иное: «Ну, *трогай, Саврасушка, трогай...*».)

Так вот, когда у нас стали укоренять второе значение — это вызвало целую бурю. В конце XVIII века появляется прилагательное *трогательный* — для передачи *touchant*. Известный защитник чистоты русского языка адмирал А. С. Шишков не переставал возмущаться «нововыдуманными словами»:

«Слово *трогательно* есть совсем ненужный для нас и весьма худой перевод с французского *touchant*. Ненужное потому, что мы имеем множество слов, то же самое понятие выражающих, как например: *жалко, чувствительно, плачевно, слезно, сердобольно* и проч.».

Над возражениями адмирала и сегодня не возбраняется порефлексировать.

Во второй половине XVIII века — во всяком случае, в журнале «И то и сию» — помещали словарик, предлагающий замены для иностранных слов: *багаж* — *пожитки*, *директор* — *правитель*, *инженер* — *искусной строитель крепостей*. Да и сам Карамзин замещает в поздних редакциях своих «Писем русского путешественника» французские слова — русскими: *визитация* — *осмотр*, *визит* — *посещение*, *публиковать* — *объявить*, *интересный* — *занимательный*, *рекомендовать* — *представ-*

лять, мина [хорошая мина при плохой игре] — выражение, момент — мгновение... Такое подыскивание полноценных синонимов для иноязычной лексики, особенно вошедшей в наш язык недавно, было бы полезной и увлекательной частью урока*.

Ведь сегодня дело совсем не в притоке иностранных слов, а в отношении носителей русского языка — то есть граждан России — к этому процессу. Не видно размышления (в том числе и публичного — почему бы нет?) над включенным в наш язык словом. Над тем — а нет ли возможности его перевода на русский?..

Уверена, например, что на уроке русского языка — в любом практически классе! — стоит обсудить прочно вошедшее в последние 15—20 лет в наш язык слово *креативный*: нужно ли оно нам?

Возможно, дискуссия приведет к тому же выводу, к которому недавно, после размышлений и обсуждения с коллегами, пришла я (не любившая это слово!). Получилось у меня, что, действительно, в слове *креативный* есть новые оттенки по сравнению со словом *творческий*. А именно: человек, который не просто порождает замечательные идеи, но тут же и намечает эффективные пути к их реализации; умеющий собрать, организовать людей для воплощения своих творческих замыслов... К чему бы не привело обсуждение подобных слов — *полезна сама рефлексия*. В этом, собственно, главная моя мысль и мое предложение коллегам-словесникам.

* Очень рекомендую вниманию словесников книгу, где собран обширный, доброкачественно отобранный и увлекательно изложенный материал по истории заимствований: Колесов В. В. Гордый наш язык... Изд. 2-е, переработанное. СПб., 2008.

...Идея перевода какого-то иностранного слова, обозначающего новый предмет или явление, на русский язык, сегодня *просто не приходит никому (или почти никому) в голову*. Точно так же, как не приходит в голову удостовериться, что имеющиеся в нашем языке (неважно — когда-то заимствованные или исконные) слова иногда *действительно* не выражают необходимых новых оттенков значения — и только поэтому мы протягиваем руку за еще одним заимствованием.

Опасность именно в том, что иностранное слово суется в язык первым же человеком, которому оно пришло в голову, и подхватывается остальными *безо всякой рефлексии*.

Разительный пример. Еду по Ленинскому проспекту и читаю растянутую через него рекламу: *Семейные воскресные бранчи* — в таком-то ресторане!

Я, можно сказать, случайно, только потому, что преподавала в американских университетах, знаю это слово — однажды в Гарварде мой американский коллега пригласил меня домой на субботний *бранч*, специально пояснив:

— Мы, американцы, позволяем себе в week-end вставать попозже — и завтракаем в 11 часов, совмещая завтрак (breakfast) с ланчем (lunch), называя это — *бранч* (brunch).

...А теперь пусть мне кто-нибудь скажет — многие ли в Москве знают точное значение этого слова? Вывешенного не в вестибюле Библиотеки иностранной литературы и не в коридорах МГИМО, а поперек одного из главных наших столичных проспектов — ко вниманию всех и каждого? Опрашивала по России — в ноябре 2012 года на встречах с библиотекарями и препода-

давателями Сибири: Новосибирск, Бердск, Оренбург. Не знал ни один человек — и по праву не знал!

И еще один вопрос об этой же рекламе — пусть знатоки рекламы (каковым не являюсь) мне объяснят, чем именно хуже — в чисто рекламном отношении — *решительно каждому жителю Москвы и России* понятное объявление: «Семейные воскресные поздние завтраки»?..

...Еще одно свежее впечатление. Молодая женщина — директор Дома культуры ЗиЛа дает интервью «Московским новостям». Рассказывает о трудностях, о желании шире привлечь в свой Дом посетителей разных поколений.

Ее вопрошают — почему в СМИ мало сведений о деятельности Домов культуры?

Ответ:

— Потому что у них *мало актуального контента*.

Не правда ли, — «так это ясно, как простая гамма»?..

Скажу честно — я представляю себе, что такое *контент*. Но решила проверить — что говорят сегодня об этом имеющиеся у меня дома словари и как соединятся их дефиниции с деятельностью Домов культуры.

Самый авторитетный для меня «Толковый словарь иноязычных слов» (М., 2006) Л. П. Крысина (свыше 25 000 слов и словосочетаний) этого слова не включает (зная Леонида Крысина, думаю, что не случайно). «Новый словарь иностранных слов» трех авторов (Е. Н. Захаренко и др., М., 2006; предыдущее издание — 2003) дает такую дефиницию (указывая, что от латинского content — содержание): «информационное наполнение сайта (тексты, графическая, звуковая информация и др.)».

Не уверена, что эта дефиниция (если люди до нее доберутся) способна привлечь посетителей в Дома культуры.

* * *

А теперь вернемся к сегодняшнему бытованию в нашем языке давно вошедшего в него слова *деликатный*.

В статье И. Левонтиной «Шум словаря» (2006) говорится о явлении «повторного заимствования» — когда слова, которые давно вошли в наш язык,

«обжились в нем, встроились в русскую языковую картину мира, сейчас заимствуются повторно, но без учета всех этих тонкостей. Просто человек при переводе иностранного слова хватается его русский вариант, не обращая внимания на то, что в русском языке у него уже давно свое особое значение» (курсив наш. — М. Ч.).

Так появляется *деликатно-розовый лак для ногтей* («Лак, скорее всего, банального *нежно-розового цвета*»). Ну и, конечно же, — *деликатная стирка*.

«Сначала было ужасно смешно, а сейчас почти уже и не режет ухо. Даже и не сразу вспомнишь, что еще недавно это называлось по-русски *бережная стирка*».

И. Левонтина поясняет, что слово пришло к нам из французского, где оно означает «нежный, хрупкий, утонченный, привередливый». С ним возможны выражения «нежный запах», «слабое здоровье», «изыскан-

ное блюдо», «тонкий ум», «чуткое ухо» и даже — «он привередлив» (*il est delicat*) в еде.

Далее позволю себе, чтобы не прибегать к пересказу вполне ясно и ярко изложенного, несколько длинных цитат из упомянутой статьи. Рассказывается, как в русском языке значение французского слова сузилось — «оно стало относиться к сфере отношений между людьми» и получило два значения:

«Во-первых, *деликатным* называют человека, который щадит чувства других людей, стараясь не обидеть их своим поведением и словами. Во-вторых, по-русски говорят, например, *деликатный вопрос*, имея в виду, что этот вопрос надо обсуждать с осторожностью, чтобы опять-таки не обидеть другого человека».

В XIX веке, когда слово у нас только приживалось, *деликатными* могли называть и кушанья с изысканным вкусом, и хрупкое телосложение. Но вскоре эти употребления устарели —

«как это часто бывает в языке, новое слово развило свое, специфическое значение»; оно «стало гораздо более узким по сравнению с английским *delicate* или, скажем, итальянским *delicate*, которые применимы не только к человеческим отношениям, но и к кушаньям, и к самым разным предметам материального мира».

Прошу особого внимания к нижеследующему пассажи:

«Дело в том, что русский язык вообще очень внимателен к нюансам человеческих отношений, особенно ко всему,

что может обидеть другого человека. Поэтому абсолютно неслучайно, что новое слово закрепилось именно в этом значении. Обратим, кстати, внимание, что параллельно, скажем, слово *щепетильный*, которое раньше употреблялось в сочетаниях типа *щепетильная лавка*, *щепетильная торговка* (помните у Пушкина — *Все, чем для прихоти обильной / Торгует Лондон щепетильный*), тоже изменило свое значение». Теперь и оно «связано с ситуациями, в которых можно случайно обидеть другого человека. В том же направлении шло и смысловое развитие слова *щекотливый*. Аналогичные употребления возникли в русском языке и у слова *галантный*».

И. Левонтина поясняет, каким полезным может быть заимствование нового слова,

«даже если в языке уже есть слова с аналогичными значениями. Происходит семантическое развитие, специализация новых слов, и в результате язык обогащается. И как же обидно бывает, когда потом слово заимствуется вторично, но так грубо и бездумно, что все это сводится на нет (курсив наш. — М. Ч.). Все эти деликатные стирки и деликатно-розовые лаки уничтожают ту тонкую, с позволения сказать, деликатную работу, которую язык прodelывал десятилетиями. Просто потому, что человеку, который переводит рекламный текст, лень две секунды подумать над переводом и написать бережная стирка, нежно-розовый лак, оставив слово деликатный для более деликатных материй».

Что означает все сказанное?

То, что наш «великий и могучий» теряет динамику, в какой-то степени *застывает* — в первую очередь по причине нашего к нему невнимания.

Не обращаем внимания на беспрепятственное проникновение в нашу речь иноязычных слов, бессмысленно дублирующих уже в ней имеющиеся. Исчезает органичная для всякого живого языка *словообразовательная* деятельность — по моделям словообразования данного языка.

Нормально, когда при появлении нового предмета или явления язык старается создать для него словесное выражение. Напомню небольшой список образованных по мере надобности слов — и всем все станет понятно: *пароход, паровоз, тепловоз, самолет, летчик...* Или, скажем, — *вагоновожатый*. Оно исчезло — но ведь и долго служило!..

Сегодня нет и поползновения образовать новое русское слово, подобное *самолету*, по существующим моделям. Язык пассивно берет готовое иноязычное. Иными словами, без *заморачивания* (словцо нынешнего сленга) хватается чужое — и впихивается в нашу повседневную речь.

Мало того — в давно заимствованных словах в результате своего рода вторичного заимствования — уже буквально переносящего иноязычные значения — стираются (как мы видели на примере слова «деликатный») тонкие, появившиеся в результате долгих десятилетий адаптации, «наши» оттенки значений.

15. ПРО БЕРЕСТЯНЫЕ ГРАМОТЫ

Из самого что ни на есть нынешнего дня русской речи предлагаю окунуться в историю — отсчитать десять столетий вглубь времени. Потому что есть вещи, о которых, я уверена, человеку России *просто необходимо* узнать еще в школе.

Полвека назад, в 1951 году, в Новгороде нашли первую берестяную грамоту. Сейчас их тысяча с лишним.

Исследователь новгородских грамот академик Андрей Зализняк в одной из своих многочисленных лекций на эту тему рассказывает, что куски исписанной бересты, которые с тех пор находят во время археологических экспедиций ежегодно (в 1998 году за один год — 92 грамоты!), попадались при раскопках и раньше — но «никто не подозревал, что это не просто куски берестяной коры, которые никому, естественно, не нужны, а древние письма»*. Самые ранние — XI века. Самые поздние — XV-го. Позже — нет.

И еще раньше попадались при раскопках палочки, назначение которых тоже было до поры до времени непонятно, — металлические или костяные —

«с одним острым концом и лопаточкой на другом конце. Форма — совершенно классическая, идущая из Греции и Рима, где она была придумана для того, чтобы писать по воску: острым концом писать, а лопаточкой на противоположном конце затирать воск, когда уже все прочитано и можно написать что-нибудь следующее. На бересте, конечно, ничего затирать невозможно, но

* www.polit.ru/article/2006/11/30/zalizniak. Далее цитируется этот текст.

тем не менее форма сохранялась традиционной именно эта. <...> Одни археологи определяли их как гвозди, другие — как шпильки очень большого размера для волос, третьи — как просто неизвестные предметы... Сейчас мы прекрасно знаем, что это инструменты для писания — писала. Их сейчас в разных местах найдено уже больше сотни. Иногда их даже находили не отдельно в земле, а в кожаном футлярчике, который крепился к поясу. Так что можно представить себе образ такого древнего новгородца, у которого с одной стороны на поясе всегда был меч (который обязательно всегда был), а с другой — писало, две стороны его нормальной ежедневной деятельности».

Ну точно так, как у современного юноши на боку в футлярчике — мобильник.

...Можно задать вопрос — почему такое значение придали мы и придаем этим ежегодным новым находкам берестяных грамот? Ведь от того времени дошло немало письменных документов.

Разница в том, что они все были — на пергамене. А на нем писалось только нечто очень серьезное, официальное. Андрей Зализняк говорит о необычайно жесткой самоцензуре — существовали строгие «моральные представления общества о том, что должно предавать записи на пергамене, а что не должно». Бытовая жизнь «в зону, предназначенную для вечности», не попадала. Именно и только на бересте велась семейная и дружеская переписка. И эти находки дали нам возможность заглянуть в домашний мир наших предков, в их частную жизнь...

Андрей Зализняк приводит несколько таких писем:

«От Гюргия к отцу и к матери. Продавши двор, идите сюда в Смоленск или в Киев. Дешев здесь хлеб. Если же не пойдете, то пришлите мне грамоту, как вы живы-здоровы».

Письмо XIII века:

«Поклон от Домажира Якову. Я слышу, что ты говоришь. Если она тебе не угодна, то отошли сестру ко мне».

То есть — брат этой сестры пишет ее мужу, прослышав про семейные нелады.

«...Я слышу, что сестра больна. Если ее Бог приберет, то пришли сына ко мне, пусть он побудет у меня за сына, и я им утешусь, а потом отошлю обратно в город. Если ж не исполнишь того, то я предам тебя Святой Богородице, перед которой ты приносил клятву».

Вот человек требует отдать долг — рубль (в Древней Руси сумма очень немалая) — своему посланцу (которому, надо полагать, в свою очередь должен автор письма и таким образом надеется расплатиться):

«От Жилы к Чудину. Дай Ондрею рубль. Если же не дашь, то сколько сраму ни заставит Ондрей меня принять из-за этого рубля, он весь твой».

Особо выделяет А. Зализняк женские письма. Во-первых, они не лаконичны... Например, любовное письмо:

«...Что за зло ты против меня имеешь, что в это воскресенье ко мне не приходил? А я к тебе относилась как

к брату! ...Неужели я тебя задела тем, что к тебе послала?»

А. Зализняк комментирует: «Можете вообразить такую тонкость чувств и выражений для XI века?»

«...А тебе, я вижу, не любо. Если бы тебе было любо, то ты бы вырвался из-под людских глаз и примчался».

Комментарий: «Из этого совершенно очевидно, что он, по-видимому, говорил, что “не могу прийти, потому что родители, родственники наблюдают, они заметят и пр.”. На что она вполне трезво ему пишет, что, если бы сильно хотел, то, конечно, сумел бы. Заметьте, совершенно так же, как, наверно, и сейчас было бы сказано в этом случае».

Во-вторых, «сам факт, что какие-то письма написаны женщинами, был чудовищным сюрпризом для историков. Представить себе, что была хотя бы одна женщина, не княгиня, а просто новгородская жительница, которая умела писать, совершенно не входило в традиционные представления историков». К тому же из содержания писем (семейные тайны и т. п.) стало ясно, что это не те письма, с которыми неграмотная пойдет к чужому писцу или чтецу. Так стала ясна поразительно новая историческая картина —

«что древний Новгород был примерно таким же обществом, как, скажем, Скандинавия того же времени, Германия и т. д., и вовсе не похож на “темную” Русь XVI—XVIII вв. Московского царства, где была полная безграмотность, где никто, кроме попов (да и то не всех), не умел

ни читать, ни писать и т. д. А уж про женщин нельзя было даже допустить мысли, что кто-нибудь из них знал хотя бы одну букву.

И вдруг мы находим письма, которые написаны от имени женщин, одно, другое, третье и т. д., сейчас их накопилось уже очень много. Кроме того, письма, написанные и адресованные женщинам: к матери, к тетке, к сестре <...>.

Правда, имеется одно обстоятельство, не красящее нашу русскую историю. Процент грамотных женщин от XII в. к XV в. не увеличивается, а падает. Это сейчас совершенно точно установлено. Письма XII в. вообще в самых разных отношениях отражают общество более свободное, с большим развитием, в частности, женского участия, чем общество ближе к нашему времени».

Вот такие дела.

И под конец (хотя говорить о берестяных грамотах можно очень много) — мы услышали, можно сказать, в этих грамотах тот язык, о котором почти не знали.

Дело в том, что в Древней Руси писали в основном на церковнославянском — «писать что-нибудь так, как говорилось, считалось в высшей степени непристойным и низким». Поэтому о живом русском языке XI—XIII вв. было очень мало известно. Он оказался запечатленным в берестяных грамотах — это было «самое большое приближение к тому реальному языку, на котором говорили люди того времени».

16. АЛ КОГО ЛИК?

Раз уж мы заговорили об истории русского языка и об его исследователе — А. Зализняке, будет уместным высказать то, в чем я уверена: необходимо до конца средней школы дать учащимся определенные, я бы сказала, гигиенические навыки обращения с языком. Квалифицированно предостеречь их от того, от чего неустанно предостерегает академик Зализняк, — от занятий любительской лингвистикой. Именно в школе — самое время и место для таких предостережений, для создания определенного иммунитета.

Обычно лингвисты-любители (то есть не изучавшие лингвистику специально) хотят поделиться с людьми своими догадками о происхождении того или иного слова — русского или иностранного и легко находят им внимающих: всем же интересно узнать происхождение известного, привычного слова! Но эти любители исходной точкой берут сегодняшнюю форму рассматриваемого слова. Им невдомек,

«что язык изменяется во времени. <...> Мир ограничивается у них тем знанием строго современного состояния, которое им дано само по себе».

Современная же лингвистика

«предполагает очевидное требование — настолько очевидное, что оно даже не формулируется в явной форме, — что если вы изучаете происхождение слова, то вы должны взять самую древнюю из известных форм этого слова...».

И если учитель-словесник, получивший, естественно, филологическое образование и потому хорошо знакомый с этой прописной истиной, сумеет донести этот простой принцип до каждого из своих учеников, включая троечников, — он обезопасит их на всю дальнейшую жизнь: они не попадут под влияние доморощенных теорий, подобных «истории» математика (говорят, вполне хорошего) Фоменко, которой заворожились многие вполне здравомыслящие с виду люди (древней истории не было, Иван Калита и Батый — одно и то же лицо, все произошло от русских и т. п.). И вообще, возможно, научатся подходить с осторожностью ко всему доморощенному. Повторю — где же и учиться этому, если не в школе?..

Зализняк приводит сначала придуманный, но точно передающий методику любительской лингвистики пример, очень помогающий, на мой взгляд, подростку ухватить своим цепким взглядом суть ненаучного подхода к происхождению слов. Есть такая филологическая игра — «Почему не говорят что-то?». Ответ — «Потому что говорят...» и тут на каждую часть слова (как в шарадах) придумывается связанное с ним по смыслу. Пример Зализняка:

«почему не говорят “красная чья рожа”? <...> А потому что говорят: “ал — кого — лик”. <...> Лингвист с большим удовольствием поиграет в эту игру, а лингвист-любитель с большим вероятием скажет: “А! Я разгадал происхождение слова “алкоголик”! Вот как, оказывается, оно: алкоголик — это “ал кого лик”. Замечательно! Все сходится!”».

А вот и

«реальный пример из сочинений Фоменко, касающийся реки Роны. “Рона, — говорит Фоменко, — это, конечно же, русское слово от глагола ронять. Почему? Потому что роняет капли”. Это самое характерное свойство реки, конечно, — ронять капли. Однако же это написано, издано большим тиражом и, увы, имеет большое количество читателей и сторонников. <...> Опять-таки, если чуть-чуть больше знать, на один шаг, то Рона была великолепно известна уже римлянам, известно ее латинское название, оно вот какое: Rhodanus. Чуть-чуть отличается от глагола ронять. <...> Это примеры того, что реально необходимо знать для того, чтобы действительно иметь в какой-то степени достоверные сведения о происхождении слов, а не просто гадания <...>. Это о первом законе, управляющем историей языков».

То есть: форма слова с течением времени изменяется.

«Второй принцип исторической лингвистики — более специальный и совершенно фундаментальный — состоит в том, что внешняя форма слова в ходе истории изменяется не индивидуальным образом для каждого слова, а в силу процессов <...>, охватывающих в данном языке в данную эпоху все без исключения слова, где имеются определенные фонемы или определенные сочетания фонем. Вот эта всеобщность каждого перехода <...> есть великое открытие XIX века, главное открытие исторической лингвистики, имеющее для всех дальнейших исследований в области истории языков такое же фундаментальное значение, как, например, закон всемирного тяготения для физики. Человек, который рассуждает

о языке, не зная этого закона, совершенно подобен тому, кто пытается что-то физическое утверждать, не зная закона всемирного тяготения»^{*}.

Наиболее памятное для выпускников филфака — так называемое падение редуцированных. Вдруг перестали произноситься Ъ и Ы — во всех словах, в которых они были (и мы так и не знаем точно, как именно они произносились). И превратились в беззвучные мягкий и твердый знак... Точно так же — палатализация (смягчение) согласных и т. п. В языке есть свои точные закономерности — и не знающий их человек не должен иметь права высказывать свое мнение о происхождении того или иного слова, да еще строить на этом зыбучем песке свою собственную историю человечества.

Повторю — иммунитет против этого надо вырабатывать именно в школе.

...Как в сочинении, закончу Заключением.

Оно будет коротким.

* www.polit.ru/article/2010/07/01/zaliziak.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В уверенности, что у нас нет другого выхода, предлагаю и настоятельно прошу всех коллег-словесников произвести существенные перемены в использовании тех смехотворно малых часов, которые оставлены в российской школе русской литературе и русскому языку.

1. Русскую классику — наше главное культурное богатство — читать на уроках вслух за счет сокращения примитивного школьного литературоведения (специализированные гуманитарные классы, школы Юного Филолога и проч. — особь статья).

2. Образцы классической поэзии помимо чтения в классе вслух обязательно учить наизусть, добиваясь результата. Предлагаю наиболее отчаянным словесникам выступить застрельщиками такого почина — каждый выпускник средней школы должен знать наизусть одну главу «Евгения Онегина».

3. Убедить учащихся, что родной язык требует ежедневного внимания.

Не меньшего, чем любимые домашние животные.

Например, если встретилось слово, значение которого вам неизвестно, — необходимо в течение двух дней, не позже — отыскать его значение в словаре. Следить за ударениями — и упрямо произносить «квартал» с ударением на последнем слоге, даже если все вокруг произносят его иначе, не уподоблять «малую толику» неизвестному «Толику». И ни за что, ни за какие коврижки не соглашаться говорить — *самый оптимальный, более оптимальный, менее оптимальный...*

На каждом уроке — 1) спрашивать значение двух слов («типа» — невежа, вальяжный, отнюдь, раритет-

ный...), 2) интересоваться, считают ли они, что некое заимствование (тренд-бренд и проч.) заполняет какую-то лакуну в нашем языке? Нет ли у них в запасе русской замены?..

Займет это пять-семь минут. А пользы — масса.

И напоследок, если вернуться к биографии и творчеству — то есть к сути литературы — необходимо помнить всего две, но самые важные, на мой взгляд, вещи:

1) писатель дает нам в творчестве *свое представление об идеале*, но вовсе не слепок со своей собственной жизни: она может быть очень далека от его идеала (понимая это, не будем забывать и пример писателя, который жизнью своей — хотя бы самоотверженной поездкой на Сахалин и многими другими поступками — подтвердил соответствие своей жизни провозвещаемому в его творчестве идеалу);

2) поэт нам ничего не должен кроме своих стихов.

ПОСТСКРИПТУМ

Через несколько месяцев после того, как была закончена эта книга, несколько событий в сфере отечественной общественной жизни заставили меня к ней вернуться — чтобы кое-что дописать.

Неожиданно для всех открылось не просто плохое, а катастрофическое положение с правописанием. Причем не где-то, в отдельных случаях, а практически — повальное.

Захотелось всем миром попытаться убедить наших школьников: период «бабла» (назовем так сегодняшней полублатной молодежный сленг) пройдет. И в России понадобятся люди, сохранившие русский литературный язык и умение *правильно* писать. И уже сегодня надо помочь появиться таким людям — и в нужном количестве...

Затем возвысила голос власть, возжелав диктовать каждому учителю литературы, как именно ему преподавать литературу. И захотелось задать людям власти пастернаковский вопрос: «Какое, милые, у нас тысячелетие на дворе?». Напоминаем тем, кто забыл, — *тре-*

тье. Российский тоталитарный век ушел в прошлое. Докажем себе и другим, что — навсегда.

Наконец, люди у власти всерьез задались вопросом — а нужна ли вообще литература в школе? Зачем она, собственно, современному человеку?..

И необходимым показалось кое-что досказать.

1. О ПРАВОПИСАНИИ

Напомню, если кто забыл: *правописание* — общепринятая и единообразная система правил написания слов данного языка... Так говорит нам Академический словарь.

О первом его издании писал в свое время Пушкин. При Екатерине Второй Словарь был составлен и издан за шесть лет —

«Карамзин справедливо удивляется такому подвигу... Ныне, — пишет Пушкин в начале 1836 года, — Академия prepares третье издание своего Словаря, коего распространение час от часу становится необходимее. Прекрасный наш язык под пером писателей неученых и неискусных быстро клонится к падению. Слова искажаются. Грамматика колеблется. Орфография, сия геральдика языка, изменяется по произволу всех и каждого. В журналах наших еще менее правописания, нежели здравого смысла...»

Не про наши ли дни?

Не перестает ли *правильное писание* слов быть не подлежащей сомнению ценностью жизни нации?

* * *

В ноябре 2009 года в газетах и на «Эхе Москвы» появилась поражающая воображение информация доцента кафедры стилистики русского языка журфака А. Николаевой о результатах диктанта среди первокурсников, набранных с помощью ЕГЭ.

Из 229 первокурсников 82% (включая 15 стобалльников ЕГЭ...) сделали в среднем по 24—25 ошибок на страницу текста. Проверяющие преподаватели, не веря глазам своим, увидели такие орфографические монстры, как *рыца* (рыться), *поциэнт*, *нез наю* и *черезчюр*. В статье в «Частном корреспонденте» А. Николаева писала, что за двадцать лет преподавания ни она, ни ее коллеги

«не сталкивались с таким потрясающим феноменом, как абсолютное игнорирование большинством студентов элементарных правил воспроизведения слова на письме».

Об этом тогда немало говорили и писали. Сегодня в интернете вернулись к обсуждению обнародованных тогда результатов: ведь положение-то вряд ли улучшилось, скорей — ухудшилось.

Речь идет не просто о людях, которые недостаточно грамотны (я намекала в разделе о русском языке на возможность некоторой снисходительности к ним — если они умны и владеют русской речью). Нет, дело серьезнее — налицо угроза самой *коммуникации* носителей русского языка: ведь слово «рыца» надо еще распознать.

Причина очевидны, на первом месте — резкая убыль *чтения книг*. То есть потеря связи с печатным, изображенным на странице словом.

Абитуриенты жалуются, что три года ничего не читали на уроках, только вставляли нужные пропущенные (в материалах подготовки к ЕГЭ) орфограммы.

...Вот и недавно, рассказывают: передача «Умники и умницы»; трем умникам (а что это лучшие из школьников — никто не будет спорить) предложены десять слов — *капилляр, периферия, интеллигентный*... Без ошибок пишет один из трех; у второго — 5 ошибок, у третьего — 8 (в десяти словах!).

Итак, мои предложения экстренного характера (в сущности же, надо разрабатывать последовательную систему мер, куда входит и пересмотр повального применения ЕГЭ).

Во-первых, предложенное ранее чтение вслух на уроках, при котором один читает, другие (предполагается) следят по печатному тексту (или на экране). Таким образом будет возобновлено внимание всех одноклассников (а не только книголюбцев) к внешнему облику произносимых слов.

Во-вторых, на каждом уроке литературы писать два-три (четыре-пять) слова на доске — под предлогом пояснения их значений. Примерно так, как предлагают авторы «Литературы» для 7 класса (Э. Э. Кац и Н. Л. Карнаух) после чтения «Размышлений у парадного подъезда»:

«Объясни значение слов, словосочетаний и фразеологических оборотов: *прожектёрство, холопство, пилигримы, лепта, останки, похоронная лепта*...»*.

* И этот учебник, и «Литература» для 5 и 6 классов, и учебно-методический комплект «Литературное чтение», составленный Э. Э. Кац для начальной школы, заслуживают отдельного внимательного разбора и похвал; не могу не вспомнить, каким поклонением школьников была окружена Элла Эдуардовна Кац в 364-й школе в Сокольниках, куда я полвека назад пришла преподавать...

Я только добавляю непременною запись объясняемых слов на доске.

В-третьих, также на каждом уроке (выхода иного нет! Пока не изменим преподавание радикально) вызывать к доске двух учеников и диктовать им по одной короткой фразе из прочитанного. Один пишет — остальные следят за написанием... Второе и третье должно занимать не более пяти-шести минут. Польза — уверена — немалая. Выход-то надо искать!

2. О ПОЛЕЗНОЙ И ВРЕДНОЙ КЛАССИКЕ

Газета «Известия» 6 марта 2013 года сообщила:

«Общественная палата [при Думе] по просьбе министра культуры Владимира Мединского разрабатывает новую концепцию школьного курса литературы, которая призвана сделать детей патриотами, помочь правильно понять “опасные” для них произведения, а некоторые книги вовсе изъять из школьного курса».

Председателю комиссии Общественной палаты по сохранению историко-культурного наследия, выпускнику Серпуховского ракетного училища П. Пожигайло министром культуры предложено (по словам самого ракетчика и кандидата исторических наук, готовившего диссертацию в адъюнктуре разведывательного управления РФ) «возглавить группу по созданию учебника по русской литературе».

Рассказывает П. Пожигайло о своих литературоведческих планах таким языком:

«...Я был очень удивлен, когда, высказав частное мнение, на меня обрушился какой-то вал оскорблений от людей культуры. ...Мы чему-то должны воспитать детей? ...А чему мы их должны воспитать? Мы каких детей хотим иметь? ...Это вырванный контекст одного из разговоров»^{*}.

И так далее.

* Радио «Комсомольская правда», 13 марта 2013, 16:04.

Новая концепция преподавания литературы в школе будет, по словам П. Пожигайло,

«ориентировать учителя на воспитание в детях через литературные образы гордости за нашу многонациональную страну, глубокого и спокойного патриотизма (скажу честно — читая это, нормальному, но “утомленному высшим образованием”, по слову Зощенко, человеку сохранить спокойствие нелегко. — М. Ч.), уважения к различным культурам, на формирование в учениках ценностей крепкой традиционной семьи».

...После такой концовки в первую очередь приходит на ум пародия Некрасова на «Анну Каренину»:

Толстой, ты доказал с терпением и талантом,
Что женщине не следует «гулять»
Ни с камер-юнкером, ни с флигель-адъютантом,
Когда она жена и мать.

Но то были шутки. А ракетчики не шутят. Повествуют вполне серьезно:

«Поэтому неоднозначные (! — М. Ч.) персонажи русской словесности должны подаваться таким образом, чтобы не стать образцом для подражания».

«Известия» поясняют:

«В списке потенциально опасных произведений — “Троза” <...>, “Отцы и дети” <...>, гражданская лирика Ни-

колая Некрасова, сказки Михаила Салтыкова-Щедрина и критика Виссариона Белинского.

— Изучение творчества этих авторов следует поставить под особый контроль. Будет разработана специальная методичка для учителей, в которой будет четко прописано, что следует рассказывать детям про эти произведения, — говорит Пожигайло».

Слово «четко» здесь особенно умилительно.

«Общественник приводит пример, как учителя будут противопоставлять правильное и неправильное поведение героев, согласно методичкам:

— Екатерина из “Грозы” — это просто несчастная девушка, которая поддалась страстям, не смогла справиться с ними и покончила жизнь самоубийством. Другой пример: Татьяна Ларина из “Евгения Онегина” — она вышла замуж, она счастлива».

Уразумели, коллеги-словесники?

А насчет

...И тихо слезы льет рекой,
Опершись на руку щекой.

О, кто б немых ее страданий
В сей быстрый миг не прочитал! —

считайте, что эти онегинские строки вам приснились.
Сказано же вам — счастлива!..

«Если брать того же “Ревизора” (помните “Записные книжки” язвительного Ильфа? “Возьмем тех же феодалов”... — М. Ч.; курсив наш), то Гоголь имел в виду не высмеивание царских чиновников, как это понималось в советское время, а мытарства одной души, где каждый из героев — это различные грехи. И Хлестаков в этом смысле — это Антихрист. Чтобы понять Гоголя, нужно, как минимум, знать Новый Завет».

Ну наводит на грех г-н Пожигайло — так и наворачивается на язык дурацкий вопрос: *а как максимум?..*

Тем и опасен прозелит, что обуреваем прозелитизмом — стремлением обратить других в свежобретенную, нередко поверхностно усвоенную веру.

Вячеслав Иванов, который узнал о существовании Нового Завета явно в более раннем возрасте, чем г-н Пожигайло, писал в 1925 году, что за эту попытку свести «Ревизора»

«на нет, на душеспасительную притчу... лет на сто у нас на Гоголя обиделись. Теперь, когда комедия сделала свое историческое дело, мы можем отнестись к замысловатому толкованию беспристрастно. Без сомнения, это — чуждый поэтическому созданию примысел, — соображение не *Гоголя-художника*, а *Гоголя — стража над художником...*» (курсив наш).

А «Мастера и Маргариту», считает г-н Пожигайло, надо вообще из школы убрать — «эту книгу надо в институте преподавать». Вот только вопрос — в каком? В Физико-техническом? В Институте стали и сплавов?

В Московском институте нефти и газа им. И. М. Губкина?..

Говорила в советское время Инна Соловьева, замечательный театровед: «Советская власть играет с нами в русскую народную игру:

— А мы просо сеяли-сеяли!

— А мы просо вытопчем-вытопчем!

...Только добились к 1990-му году введения Булгакова в школьную программу (я составляла в тот год для издательства «Просвещение» его первое «Избранное») — и школьники *действительно* стали его читать и читают до сих пор (о чем много сказано в первом разделе этой книжки) — как предлагают отнять у них любимую книгу! Вместо этого в одном из своих многочисленных выступлений г-н Пожигайло предлагает изучать в школе гоголевские «Выбранные места из переписки с друзьями».

3. К ЧЕМУ В НАШЕЙ ЖИЗНИ ИМЕЕТ ОТНОШЕНИЕ РУССКАЯ КЛАССИКА?

Мой ответ — КО ВСЕМУ.

Уточню — ко всему самому сложному.

И нельзя пристегивать ее к простому, однолинейному — забивать золотыми часиками гвозди, как любили говорить в годы моего детства.

Недавно я получила приглашение (подписанное П. Пожигайло) на общественные слушания «Литература в школе: есть ли будущее?». Сообщается, что на этих слушаниях «будут рассмотрены вопросы (вы не поверите! — М. Ч.) необходимости преподавания литературы в школе...». Оказывается, необходимость этого уже под вопросом!..

Приглашенные информируются, что Комиссией по культуре и сохранению историко-культурного наследия (возглавляемой П. Пожигайло) уже

«проведен ряд общественных слушаний о роли литературы в воспитании подрастающего поколения (даже не озаботились заменой советизмов с полувековым сроком службы! — М. Ч.), формировании нравственного общества и сильного государства».

Я дала прочитать эти формулировки, донельзя сужающие функцию литературы, своему коллеге, много лет возглавлявшему французскую славистику, профессору Мишелю Окутюрье. Он задумчиво сказал:

— Да, у нас это тоже было в школьном преподавании. Но сто лет назад.

И мы с ним, худо-бедно отдавшие жизнь изучению русской литературы, долго говорили о том, что для обоих давно было азбучным: литература, если и учит, то отнюдь не формировать сильное государство, а — *понимать жизнь*. (Но объяснить это тому, кто затвердил, в силу особенностей воспитания и образования, иное, полагаю — невозможно. Зато можно — и просто необходимо — *помешать* «провести в жизнь» такой взгляд на место литературы в школе.)

Русская классическая литература (и, конечно, не только русская) дает людям ключ к сложнейшим жизненным ситуациям. Защищает от демагогических и примитивных оценок человеческих поступков. Помогает вглядываться в тонкости, в детали, не ограничиваться поверхностными эмоциональными оценками — даже когда реакции большинства толкают вас именно к этому.

Известный американский писатель (дважды лауреат престижной Пулитцеровской премии) Д. Вайнгартен глубоко и пристально занимался гибелью детей, забытых на жаре в машине — то есть тем, что происходит в США примерно 15—25 раз в год*.

Его анализ показал, что для трагедии как небрежности по отношению к *приемному* ребенку, да еще с подчеркиванием, что к *российскому*, — нет оснований. Дело гораздо сложнее. Страшное событие чаще всего оказывается весьма далеким от беспечности, тем более — от злого умысла.

* Не только в США, как многим нашим согражданам, увы, хотелось бы думать. Моя дочь около двадцати лет работает в Москве с итальянцами; они рассказывают ей, как в разных городах Италии в запертых машинах забывают то жену, то тещу, то ребенка...

Оказывается, в начале 90-х

«эксперты по безопасности объявили, что подушки безопасности могут убить детей, и предложили переставить детские креслица на заднее сиденье».

Потом — для той же безопасности —

«родителям начали рекомендовать поворачивать детские сиденья лицом назад. И если мало кто мог тогда предположить страшные последствия уменьшения “видимости” ребенка для родителей, то... кто обвинит их в этом? Ну кто способен забыть собственного ребенка в машине?

Как выяснилось, богатые люди могут. И бедные. И средний класс. Родители всех возрастов и национальностей. Матери забывают детей так же часто, как и отцы. Это случается с хронически рассеянными людьми и с фанатически организованными, с выпускниками университетов и с едва грамотными. За последние десять лет это случилось с зубным врачом, с почтальоном, с социальным работником, с полицейским, с бухгалтером, с солдатом, с помощником адвоката, с электриком, с протестантским священником... с медсестрой, со строителем, с заместителем директора школы, с психологом, с профессором колледжа и с изготовителем пиццы. Да, и с педиатром. И с тем, кто “делает ракеты”».

Однажды это произошло в разных штатах США три раза за один день...

«Возможно, никакой другой акт человеческого безрассудства не бросает такой вызов общественным представле-

ниям о преступлении, наказании, правосудии и милосердии».

Говоря проще, всех нас захлестывают боль и жалость к погибшему в мучениях ребенку и гнев, адресованный взрослому, по вине которого ребенок погиб. Но должны ли мы давать эмоциям захлестнуть разум? Не следует ли нам припомнить в этой ситуации романы Достоевского?..

«Согласно статистике, в 40% подобных случаев полиция рассматривает факты и принимает решение не возбуждать уголовное дело, постановив, что смерть ребенка была несчастным случаем и что страшная “ошибка” памяти уже вынесла забывчивому родителю пожизненный приговор вины и боли, намного превосходящий любой возможный приговор суда...».

Но в 60% случаев прокурор передает дело в суд. Так было с Харрисоном — приемным отцом погибшего в его машине российского ребенка. Прокурор, сам отец двоих детей-подростков, привлек его к суду.

В другом же случае другой прокурор заявил, что смерть ребенка — это трагедия, но полицейское расследование не обнаружило состава преступления — несчастный отец

«поступил непреднамеренно, не играл в рулетку с жизнью ребенка и не предпринимал рискованных поступков — он просто забыл...».

Очень важное пояснение автора статьи (то, что в нашей стране многими остается непонятым):

«В подобных случаях нет четких границ между правильно и неправильно, законно и незаконно — каждый прокурор должен принять собственное Соломоново решение. Но государственные служащие тоже люди и неизбежно привносят свои понятия о правосудии и справедливости в и без того сложную ситуацию».

...И еще раз — не этот ли «человеческий фактор» детально показан и пояснен нам в романах Достоевского?..

У прокурора, отказавшего судить несчастного отца, — шестеро детей. Одна дочка в три года умерла от лейкемии. Прокурор говорит:

«Я имею некое представление о том, что такое потерять ребенка, что это делает с человеком».

То есть — для него, пережившего смерть маленькой дочери, вперед выдвинулось то, что отец уже наказан... (Жена этого человека, не перенеся происшедшего, оставила его. Он живет один; маловмняем.)

А Харрисона — того самого, в машине которого погиб приемный сын из России, — судили.

Медсестра, описывавшая поведение подзащитного, когда того доставила в больницу полиция, плакала. Он

«сказал, что не хочет никаких транквилизаторов и не заслужил избавления от этой боли. Он хотел прочувствовать ее всю, до капли, а потом умереть».

Суд установил, что Харрисон с женой были бездетной парой «хорошо за сорок», страстно желавшей

завести ребенка. Они три раза ездили в Россию, добрались до российской глубинки в поисках «своего» ребенка — и наконец нашли. Пучок болезней их не смутит. Соседка Харрисона рассказала, как наблюдала за счастливым отцом, катающимся с сыном по газону...

Судья признал Харрисона невиновным. В нашей стране нашлись те, кто возмутились таким решением. Харрисон долго отказывался от интервью. И только после принятия российского закона о запрете на усыновление наших больных детей американскими гражданами согласился.

«— Я молю русских людей о прощении, — сказал он. — В нашей стране много хороших людей, которые заслужили иметь детей, а в России много детей, которым нужны родители. Пожалуйста, не наказывайте никого за мою ошибку».

Он просит нас о прощении, но русские люди, похоже, вовсе забыли, что такое прощение.

Надежда — на русскую литературу. Она сумеет рассказать детям таких людей, какие это важные человеческие свойства — *умение сострадать и прощать*.

Ведь в «Идиоте» Достоевский умеет заставить нас сострадать даже Рогожину — убийце Настасьи Филипповны...

«Детская комната Чейза в доме Кэрл и Майлза Харрисона остается нетронутой. Вокруг много фотографий ребенка.

— Иногда мы смотрим вместе на его фотографии, — говорит Харрисон, — и я вижу, что она плачет. Она стара-

ется, чтоб я этого не заметил, но я вижу, и испытываю такую боль, такое чувство вины...

Харрисон знает, что им вряд ли разрешат усыновить другого ребенка.

...— Я лишил ее материнства. ...Она была бы лучшей матерью на свете...».

И представьте себе — в этой совершенно беспросветной ситуации появился просвет.

На суд на Харрисоном приехали две незнакомые ему женщины — из солидарности: обе они потеряли своих родных детей совершенно так же, как он, и разделяют в полной мере его муки.

Одна из них, 37-летняя резервистка американской армии, не раз бывавшая на поле боя. После гибели ребенка она родила, теперь они с мужем надеются родить еще одного.

«Она считает свою семью счастливой, поскольку они могут завести других детей».

А Харрисон лишен этого счастья — и лишил его свою жену. Потому эта женщина приняла свое решение.

«...Это будет легально. Ни одно официальное лицо не сможет ее остановить, потому что это подпадает под категорию частных усыновлений. Ей понадобятся донор спермы и донор яйцеклетки — она не хочет использовать свои яйцеклетки, это было бы уж слишком лично».

Она объясняет — Харрисоны заслужили еще одного ребенка. Они будут замечательными родителями. Она

«говорит, что все уже решила. Если Майлзу и Кэрол не дадут усыновить другого малыша, если они исчерпают все свои ресурсы и по-прежнему будут бездетны, то она предложит им выносить ребенка, в качестве подарка».

Скажу честно — я знаю много добрых людей в моей стране, и тем не менее не могу представить такого.

4. «СО МНОЮ ПОДОБНОГО НИ ЗА ЧТО НЕ СЛУЧИТСЯ»?..

Агрессия плещется в интернетовских комментариях не только у нас — Джон Вайнгартен цитирует злобные реплики соотечественников, обращенные к несчастным родителям.

«Реакцию огромного процента населения нельзя даже назвать злостью — это травля».

Конечно, неуголимые американцы исследовали и это явление. И получены неожиданные и убеждающие результаты.

Начали с изучения последствий трагедий на дорогах для выживших водителей. Выяснилось —

«общественное мнение судит водителей сурово и несправедливо, даже когда происшедшее — очевидный несчастный случай, даже когда это явно не их вина».

В чем же тут дело?

Оказалось: в человеке заложена

«фундаментальная потребность создавать и поддерживать версию мироздания, в которой вселенная не бессердечна и неумолима, а страшные вещи не происходят случайно, и если ты внимателен и ответственен, то катастрофы можно избежать» (такова мысль американского психолога; курсив наш).

Психолог утверждает:

«Мы все уязвимы, но никто не хочет, чтоб ему об этом напоминали. Мы хотим верить в понятный, контролируемый, неугрожаемый мир, где все будет *о'кей* постольку, поскольку ты играешь по правилам. Поэтому, когда нечто подобное случается с другими, нам необходимо отделить их от себя. Мы не хотим иметь с ними ничего общего, и тот факт, что мы можем быть в чем-то на них похожи, приводит нас в ужас. Поэтому мы делаем из них монстров».

Нечто близкое к этому тонкому рассуждению — но уже про прямые преступления — сообщает нам замечательный писатель Г. Честертон (вот с кем необходимо, на мой взгляд, достаточно рано — в 12—13 лет — знакомить школьников!) устами своего главного героя патера Брауна:

«— Есть два пути борьбы со злом... И разница между этими двумя путями, быть может, глубочайшая пропасть в современном сознании. Одни боятся зла, потому что оно далеко. Другие — потому что оно близко. И ни одна добродетель, и ни один порок не отдалены так друг от друга, как эти два страха...» («Тайна Фламбо»).

...Но все-таки — как ЭТО происходит? С вменяемыми, страстно любящими своих детей людьми?

Представьте себе, что страшная тайна практически раскрыта — усилиями ученых, главным образом —

специалистом по молекулярной физиологии. И некоторые его формулировки ошарашивают:

«Наша память — это машина, и она несовершенна. Сознание приоритезирует все происходящее по степени важности, но на клеточном уровне память этого не делает. *Если ты способен забыть мобильник, ты потенциально способен забыть и ребенка*».

Выяснилось, что такое может происходить на пересечении эмоций, стресса и памяти.

«...В некоторых ситуациях самые сложные участки нашего мозга перестают обрабатывать информацию — их захватывает в заложники другая часть памяти, примитивный кусок серого вещества, не изменившийся со времен динозавров, невнимательный, неаналитический, упертый, да просто тупой...».

Исследователь обнаружил путем многих экспериментов на животных:

«Стресс — внезапный или хронический — ослабляет участки мозга, функционирующие на более высоком уровне, и делает их беззащитными перед напором угрюмо-доисторических...».

Память в этих важных участках памяти стирается —

«как компьютерная программа, пораженная вирусом. И если вовремя не произойдет перезагрузка — ребенок

заплачет, жена напомним, — то этот кусок памяти может просто исчезнуть».

Да, таков XXI век. Мобильные телефоны сохраняют родителям нервы — можно в любой момент узнать, где ваш ребенок. И та же техника играет губительную роль — отвлекая человека за рулем и от внимательного наблюдения за дорогой, и даже от мыслей о собственном ребенке в машине за твоей спиной...

5. О ДОСТОЕВСКОМ И НЕ ТОЛЬКО

Скажу, может быть, несколько прямолинейно, но убежденно — где сложности жизни, нечто морально-неразрешимое на обычный наш взгляд, там заступает на вахту великая русская литература, наше неопенимое наследие. Мы много о нем говорим, но на деле мало ценим. Но именно она, как никто иной, учит нас. Учит не спешить с оценками, вглядываться в суть вещей...

«Преступление и наказание» (как и «Идиот») открывает читающему роман, что можно осуждать преступление, но *сострадать* преступнику.

Не всякому. Возвращаясь к гибели детей в машинах — известны случаи, когда родители были беспечны, оставляли ребенка в машине

«преднамеренно, несмотря на очевидный риск. В одном вопиюще чудовищном случае мать использовала запертую машину в качестве дешевой замены яслям».

Это преступление, за которым неотвратно следует наказание.

Но в том-то и дело, что люди — разные. Великая литература открывает нам это ярче, чем реальность нашей собственной жизни.

«Братья Карамазовы» на сотнях страниц, всесторонне, с длинными речами прокуроров и адвокатов, убеждают нас в том, что человек, против которого говорят все решительно улики, может вовсе и не быть убийцей.

«...И Митя рассказал, как он взял пестик и побежал.

— Но какую же цель вы имели в предмете, вооружаясь таким оружием?

— Какую цель? Никакой цели! Захватил и побежал.

— Зачем же, если без цели?

В Мите кипела досада. <...>

— Наплевать на пестик! — вырвалось вдруг у него.

— Однако же-с.

— Ну, от собак схватил. Ну, темнота... Ну, на всякий случай.

— А прежде вы тоже брали, выходя ночью со двора, какое-нибудь оружие, если боялись так темноты?

— Э, черт, тьфу! Господа, с вами буквально нельзя говорить! — вскрикнул Митя в последней степени раздражения <...>.

Дойдя наконец до того мгновения, когда, увидев высунувшегося из окна отца, он вскипел ненавистью и выхватил из кармана пестик, он вдруг как бы нарочно остановился. Он сидел и глядел в стену и знал, что те так и впились в него глазами.

— Ну-с, — сказал следователь, — вы выхватили оружие и... и что же произошло затем?

— Затем? А затем убил... хватил его в темя и раскрыл ему череп... Ведь так, по-вашему, так! — засверкал он вдруг глазами. Весь потухший было гнев его вдруг поднялся в его душе с необычайной силой.

— По-нашему, — переговорил Николай Парфенович, — ну, а по-вашему?

Митя опустил глаза и долго молчал.

— По-моему, господа, вот как было, — тихо заговорил он, — слезы ли чьи, мать ли моя умолила Бога, дух ли светлый облобызал меня в то мгновение — но черт был побежден. Я бросился от окна и побежал к забору...»

Митя понимает, что мышление следователей иное — они ему не верят:

«...Старик теперь лежит там с проломленную головой, а я — трагически описав, как хотел убить и как уже пестик выхватил, я вдруг от окна убегаю... Поэма! В стихах! Можно поверить на слово молодцу! Ха-ха!»

...Так и не доказав свою невиновность суду, но доказав читателю, Дмитрий Карамазов отправляется в конце романа на каторгу.

* * *

Недаром на портале работников образования учитель физики с 16-летним стажем написал, что его внутренний мир сформировали «Братья Карамазовы» и «Анна Каренина».

И таких оценок роли романа «Братья Карамазовы» в интернете — огромное количество.

Вот некоторые ответы на вопрос в интернете «*Стоит ли вам читать книгу “Братья Карамазовы”*»:

«Настольная книга».

«Несомненно, эта книга — лучшая, которую я когда-либо читала».

«Потрясающая книга. И мне кажется, что она не о душе русской, а о натуре человеческой».

«Очень понравилось произведение, читала в школе, в 10 классе».

«Гениальное и многогранное произведение. Таких, как Достоевский, нет и не было и не будет никогда. Книга

прочиталась практически на едином дыхании и отнюдь не показалось, что есть что-то лишнее или нудное. На детективную линию гармонично “нанизаны” теософия, религия, философия, идеи западничества и славянофильства. Любовные страсти... Добро, зло, мистика <...> Мое воспитание и началось с “Преступления и наказания”. С тех пор не представляю своей жизни без его романов». «Книга затрагивает вселенские споры. Самое главное, на мой взгляд, к чему должна побуждать книга, — меньше думать и анализировать».

«Эту книгу стоит прочитать не один раз на протяжении всей жизни».

«Читая Достоевского, словно бы читаешь “Жизнь” — как бы это высокопарно не звучало. В его романах есть все, его романы о людях, о жизнях, о судьбах, о страстях человеческих».

«Читать советую всем без исключения».

«Ничего глубже не читал».

«Гениальная книга. Настольное произведение. В ней, как в Библии, ответы на все вопросы».

* * *

Формирование внутреннего мира человека, а не «сильного государства» — вот задача русской классики. И с ней она в высшей степени успешно справляется — дайте только ей дотянуться до подростка.

Несколько лет назад в одной из бесед на «Эхе Москвы» о школьной программе по литературе поэт (и мать) Марина Бородицкая говорила «по поводу воспитательной роли литературы».

К. Ларина. Страшные слова».

Бородицкая вопрошает себя и других — что же мы воспитываем, если не воспитаем воображение?

Учитель литературы и автор учебника Евгения Абелюк подсказывает — «Сопереживание».

М. Бородицкая. Воображение это и есть шаг к переживанию, потому что только человек с воображением может понять, что другому тоже больно. ...Если мы не приучим читать, если мы не научим, что это наслаждение, мы не разовьем у человека воображение. И что мы получим в результате...»

М. Бородицкая вспоминает, как у ее учительницы литературы была такая любимая фраза — «вскрывать подтекст». А у школьницы

«такое живое конкретное воображение, и у меня сразу такая консервная банка в голове возникала, и этот ее скрежещущий голос, этот подтекст мне представлялся консервами, которые надо вскрывать почему-то. И если бы я не была таким запойным читателем от рождения, я бы, конечно, все это потеряла бы просто в средней школе...»

Потому что

«все-таки главная цель чтения — это не анализ, как мне кажется, это наслаждение. Когда мы научились наслаждаться чтением, потому что чтение это совершенно любовный акт между читателем и писателем происходящий, — мы не можем о нем все время говорить вслух, нам надо немного помолчать наверно, потому что действительно какой-то интим — то, что происходит между тво-

им глазом и страницей, это неопиcуемо, это совершенно только между вами. И тогда уже можно открыть учебник и посмотреть — а что еще умные люди думают о той же самой книжке. Но это не должна быть обязаловка, это не должен быть учебник, который надо зубрить...»

* * *

Итак, надо бы стремиться к тому, чтоб окончившие школу-одиннадцатилетку — умели мыслить. Не шли на поводу у демагогов; не приучались ненавидеть других людей. Не торопились в моральных оценках. Критически относились как к всеобщему одобрению, так и к всеобщему осуждению.

— При чем тут мы? — воскликнут учителя литературы.

Очень даже при чем.

Потому хотя бы, что, похоже, — БОЛЬШЕ НЕКОМУ.

СОДЕРЖАНИЕ

Предисловие	5
-------------------	---

I. Как быть с классикой?

1. О наследии	11
2. Школьное литературоведение	15
3. К русской классике XIX века — через Михаила Булгакова	26
4. Гоголь у Булгакова	33
5. Бунин в «Мастере и Маргарите»	43
6. Небольшой дивертисмент	49
7. Еще о грустном	54
8. Проходить — или все-таки читать?	57
9. Мимо Достоевского?	61
10. Биография, прототипы, прообразы	64
11. Тайнопись автора	76
12. Биография в творчестве	82
13. Следы кровавой эпохи	87
14. Воспитывает или пробуждает?	99
15. Тайны Гоголя	103
16. Никто и никогда или все-таки кое-кто иногда?	109
17. Так ли уж плох Борис Дикой?	113

II. Как быть со стихами?

1. Подаренный мамой язык — дорога к поэзии 119
2. Обязательно ли все понимать? 123
3. Что же нужно знать про стихи? 128
4. А вот — что 134
5. «Вьется серый пух перин...» 146
6. Вошли в поговорку 156
7. Личность автора и творчество 164

III. Как быть с русским языком?

1. Знать родной язык 171
 2. Не *наезжайте*, будьте добры! 175
 3. Язык распавшейся цивилизации 181
 4. Вместо сердца — пламенный мотор! 185
 5. Всерьез и надолго? 188
 6. Дензнаки, деньги и нажива 193
 7. «Русским языком вам говорят!» 201
 8. «Братская помощь» и «классовый враг» 209
 9. В плане мочить в сортире 214
 10. «Расстрел парламента» глазами подростков 216
 11. Куда делись «деликатные» и «великодушные»? 219
 12. Типа, отстой меня напрягает 223
 13. Навалили салату и набухали сахару 227
 14. Лондон щепетильный 231
 15. Про берестяные грамоты 240
 16. Ал кого лик? 245
- Заключение 249

Постскрипtum	251
1. О правописании	255
2. О полезной и вредной классике	259
3. К чему в нашей жизни имеет отношение русская классика?	264
4. «Со мною подобного ни за что не случится?».. ..	272
5. О Достоевском и не только	276

Литературно-публицистическое издание

Мариэтта Омаровна Чудакова

ЛИТЕРАТУРА В ШКОЛЕ: ЧИТАЕМ ИЛИ ПРОХОДИМ?
книга для учителя

Редактор

Татьяна Тимакова

Художественный редактор

Валерий Калныньш

Подписано в печать 9.07.2013

Формат 84x108¹/₃₂. Усл. печ. л. 15,12.

Бумага писчая. Печать офсетная

Тираж 3000 экз. Заказ № 565.

«Время»

115326, Москва, ул. Пятницкая, 25

Телефон (495) 951 55 68

<http://books.vremya.ru>

e-mail: letter@books.vremya.ru

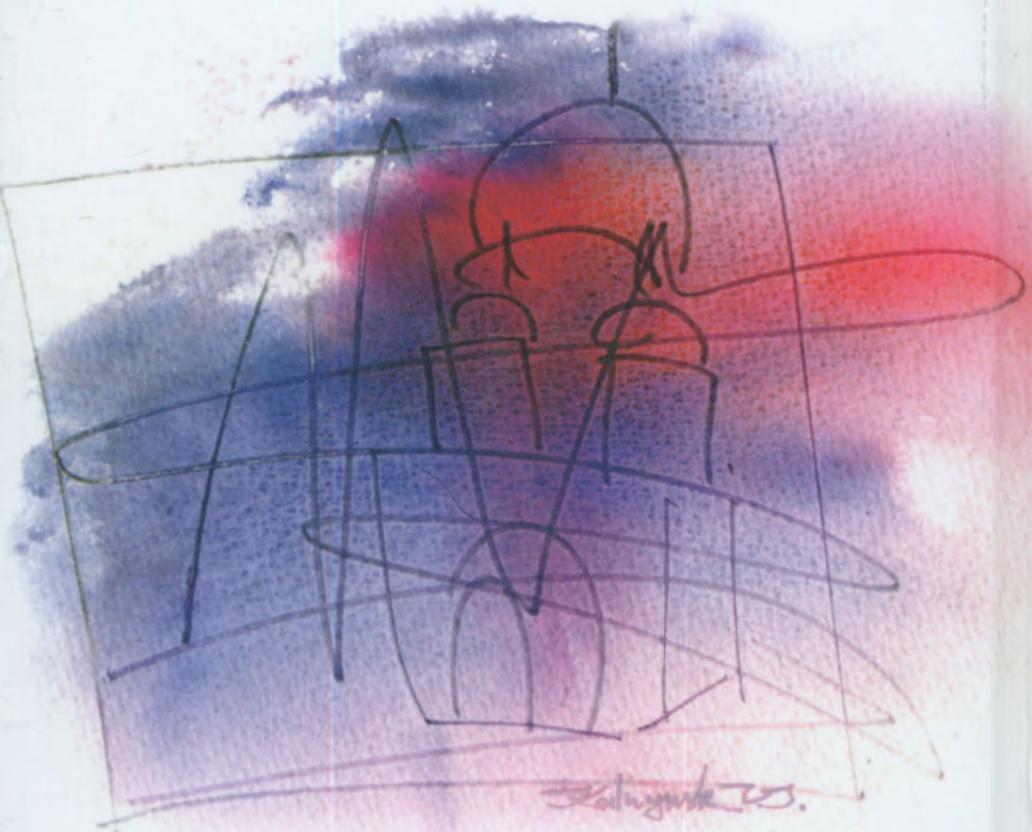
Отпечатано в ОАО «ИПП «Уральский рабочий»

620990, Екатеринбург, ул. Тургенева, 13

<http://www.uralprint.ru>

e-mail: book@uralprint.ru

12+



Литература если и учит, то – понимать жизнь. Русская классическая литература (и, конечно, не только русская) дает людям ключ к сложнейшим жизненным ситуациям. Защищает от демагогических и примитивных оценок человеческих поступков. Помогает вглядываться в тонкости, в детали, не ограничиваться поверхностными эмоциональными оценками – даже когда реакции большинства толкают вас именно к этому.

Формирование внутреннего мира человека – вот задача русской классики. И с ней она в высшей степени успешно справляется – дайте только ей дотянуться до подростка.